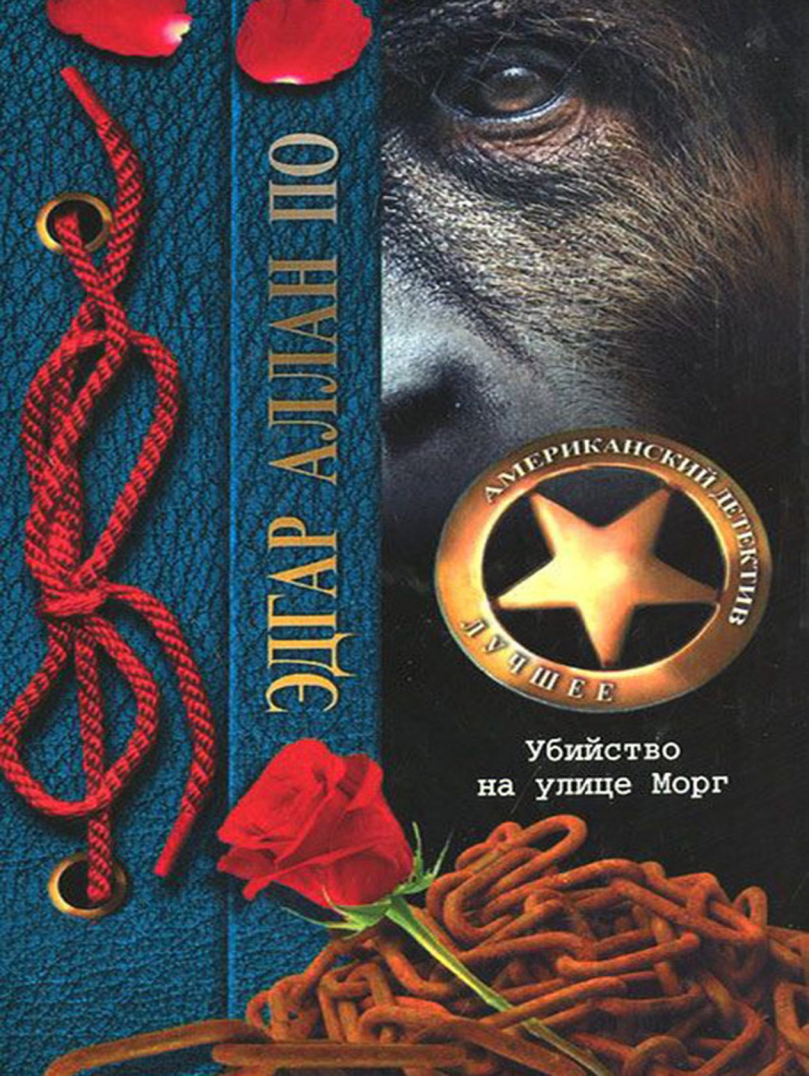
ЭДГАР АЛЛАН ПО
АМЕРИКАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
ЛУЧШЕЕ
Убийство
на улице Морг

Убийство на улице Морг (сборник)

Эдгар Аллан По

Аннотация
Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг (сборник)
Убийство на улице Морг
Тайна Мари Роже
Похищенное письмо
Золотой жук
Надувательство как точная наука
Делец
Бес противоречия
Черный кот
Ты еси муж, сотворивый сие!
Сердце-обличитель

Аннотация

Кто изобрел дедуктивный метод ведения расследований?

Шерлок Холмс?

Вовсе нет: первый легендарный детектив-любитель мировой литературы, герой рассказов Эдгара Аллана По – Огюст Дюпен.

Он – затворник и интеллектуал. Он расследует загадочные и жестокие преступления, не выходя из своей уютной парижской квартиры.

Он оперирует фактами, уликами и свидетельскими показаниями – и делает выводы…

Кто отнял жизнь у очаровательной девушки?

Кто устроил чудовищную резню на улице Морг?

Кто похитил письмо, которое может изменить судьбу Европы?

Дедуктивный метод Дюпена действует безотказно…

Эдгар Аллан По
Убийство на улице Морг (сборник)

© ООО «Издательство Астрель», 2012

* * *

Убийство на улице Морг

Что за песню пели сирены или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин, – уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна.

Сэр Томас Браун. Захоронения в урнах

[1]

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать. Всякая, хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы,

---

[1] Сноски: 1

Перевод. Р. Гальперина, наследники, 2002.

обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать, анализом par excellence[2]. Между тем рассчитывать, вычислять — само по себе еще не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах,

---

[2] Сноски: 2
По преимуществу *(фр.)*.

где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь *решает* внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шашки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в про-

счет или сбить с толку.

Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета; известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист — шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, в которых ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а следовательно, всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла (основанное на простой механике игры) общепонятно и общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «пра-

вила» и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнер, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от надежности выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И хотя прямая его цель — игра, он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онёр за онёром по взглядам, какие они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что ход сделан для отвода глаз. Невзначай или необдуманно оброненное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут — с опаской или спокойно; под-

счет взяток и их расположение; растерянность, колебания, нетерпение или боязнь — ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи (совершенно напрасно, по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит с кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудно заметить, что люди изобретательные — большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя

своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям.

Весну и часть лета 18… года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мосье С.-Огюстом Дюпеном. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, — книги, — вполне доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а глав-

ное — я не мог не восхищаться неудержимым жаром и свежестью его воображения.

Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неоценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья; давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантастических причуд моего друга — ибо как еще это назвать? — была влюблен-

ность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно принял эту bizarrerie[3], как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории: при первом проблеске зари захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор, или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит тихое созерцание.

В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему достав-

---

[3] Сноски: 3
Странность, чудачество *(фр.)*.

ляет. Не раз хвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него — открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах; я также не намерен романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведает живой пример.

Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал:

— Куда ему, такому заморышу! Лучше б он по-

пытал счастье в театре «Варьете».

— Вот именно, — ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

— Дюпен, — сказал я серьезно, — это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал о… — Тут я остановился, чтобы увериться, точно ли он знает, о ком я думал.

— …о Шантильи, — закончил он. — Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагики.

Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шантильи, quondam[4] сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона и был за все свои старания жестоко освистан.

— Объясните мне, ради Бога, свой метод, — настаивал я, — если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мыс-

---

[4] Сноски: 4
Некогда *(лат.)*.

ли. — Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления.

— Не кто иной, как зеленщик, — ответил мой друг, — навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса et id genus omne[5].

— Зеленщик? Да Бог с вами! Я знать не знаю никакого зеленщика!

— Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять.

Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют charlatanerie[6]

— Извольте, я объясню вам, — вызвался он. — А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи — Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур, стереотомия, булыжник и — зеленщик.

---

[5] Сноски: 5
И ему подобных *(лат.).*

[6] Сноски: 6
Очковтирательство *(фр.).*

Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это — преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов.

Мой друг между тем продолжал:

— До того как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на груду булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка растянули связку, рассердились, во всяком случае насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на груду булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я

заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина и вымощен на новый лад — плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия» — термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура; а поскольку это было темой нашего недавнего разговора — я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного, — то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашней «Musee» некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих:

Perdidit antiquum litera prima sonum[7].

Я как-то пояснил вам, что здесь разумеется Орион — когда-то он писался Урион, — мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклание. Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытать счастья в театре «Варьете».

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск «Судебной газеты», наткнулись мы на следующую заметку:

НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

«Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно

---

[7] Сноски: 7
Утратила былое звучание первая буква *(лат.)*.

местным обывателям, проживала единственно некая мадам Л'Эспанэ с незамужней дочерью мадемуазель Камиллой Л'Эспанэ. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому, и с десяток соседей, в сопровождении двух жандармов, ворвались в здание. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже (дверь, запертую изнутри, тоже взломали), — толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной

решетке. На полу, под ногами, найдены четыре наполеондора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами — общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспанэ! Кто-то заметил в камине большую груду золы, стали шарить в дымоходе и — о ужас! — вытащили за голову труп дочери: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана — явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись

вниз, на мощеный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху — ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной».

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения:

ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ МОРГ

«Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания:

Полина Дюбур, прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспанэ была гадалкой, этим и кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не

держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспанэ нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет как поселилась в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Л'Эспанэ. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданьем, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери, да кое-когда привратника, да раз восемь — десять наведывался доктор.

Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо захаживал. Были ли у них где-нибудь

друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать — тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, — и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь — один или двое) как будто в смертной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются — один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова «sacre» и «diable»[8], визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил,

[8] Сноски: 8
«Проклятие» и «черт» *(фр.).*

а только, скорее всего, язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает

предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий — скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «sacre» и «diable», а однажды сказал «mon Dieu!»[9].

Жюль Миньо, банкир, фирма «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он — Миньо-старший. У мадам Л'Эспанэ имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года (восемь лет назад) вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады — небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Лебон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспанэ до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла маде-

---

[9] Сноски: 9
Боже мой! *(фр.)*

муазель Л'Эспанэ; она взяла у него один мешочек, а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал «sacre» и «mon Dieu!». Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее, немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л., была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стона, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты

в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений (mansardes). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец по рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться. Слышал, как двое спорили, хриплый голос — несомненно француз. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не разумеет, судит по интонации.

Альберто Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил

француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не разобрал. Второй говорил часто-часто, заплетающимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось.

Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под «трубочистами» они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труп мадемуазель Л'Эспанэ был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько

глубоких ссадин и сине-багровых подтеков — очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Л'Эспанэ задушена, — убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая tibia[10], равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла — да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно, бритвой.

Александр Этьенн, хирург, был вместе с мосье Дюма приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключению мосье Дюма.

---

[10] Сноски: 10
Берцовая кость *(лат.).*

Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намека на возможную разгадку».

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

— А вы не судите по этой пародии на следствие, — возразил Дюпен. — Парижская полиция

берет только хитростью, ее хваленая догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспомнишь Журдена: «pour mieux entendre la musique», он требовал подать себе свой «robe de chambre»[11]. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока, например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к

---

[11] Сноски: 11

Чтобы лучше слышать музыку… халат *(фр.)*.

наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям, нежели центр), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысль. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (у меня мелькнуло, что «позабавит» не то слово, но я промолчал), к тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г. — мой старый знакомый — не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом

конце города и только часам к трем добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазело с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая loge de concierge[12]. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания.

Вернувшись к входу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произвели впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспанэ и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все осталось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную в «Судебной газете», — и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и

---

[12] Сноски: 12
Привратницкая *(фр.).*

остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведался в редакцию одной из утренних газет.

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как je les menageais[13], — соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только назавтра, в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом: не заметил ли я чего-то особенного в этой картине зверской жестокости?

«Особенного» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

— Нет, ничего особенного, — сказал я, — по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

— Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное, — возразил Дюпен, — то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но Бог с ним, с этим дурацким

---

[13] Сноски: 13
Я им потакал *(фр.)*.

листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспанэ, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли — другого выхода нет, свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи — этих обстоятельств вместе с вышеупомянутыми, да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, оказалось достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног, парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. В таком рас-

следовании, как наше с вами, надо спрашивать не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?». И в самом деле, легкость, с какой я прихожу — пришел, если хотите, — к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

— Сейчас я жду, — продолжал Дюпен, поглядывая на дверь, — жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, не повинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монологе. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно,

говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

— Показаниями установлено, — продолжал Дюпен, — что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспанэ убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, лишь чтобы показать ход своих рассуждений: у мадам Л'Эспанэ не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

— Все свидетели, — отвечал я, — согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

— Вы говорите о показаниях вообще, — воз-

разил Дюпен, — а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса; тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз — все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: «Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский». Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, «свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика». Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он «по-немецки не разумеет». Испанец «уверен», что это англичанин, причем сам он «по-английски не знает ни слова» и судит только по интонации, — «английский для него чужой язык». Итальянцу мерещится русская речь — правда, «с русскими говорить ему не приходилось». Мало того, второй француз, в отличие от первого, «уверен, что говорил италья-

нец»; не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается «на интонацию». Поистине странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался «скорее резким, чем визгливым». Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

Не знаю, — продолжал Дюпен, — какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний — насчет хриплого и визгливого голоса — вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке как к единствен-

ному результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне.

Перенесемся мысленно в эту спальню. Что мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выход, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспанэ! Преступники — заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что, когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне либо, в крайнем случае, в смежной комнате, — а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней

части, футов на восемь — десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить

оба гвоздя и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать a praepostere[14]. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка по крайней мере оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму.

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал вни-

---

[14] Сноски: 14
В обратном порядке *(лат.).*

мательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется — но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или по крайней мере в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна; потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую с соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления — умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки — и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата

в соседнем окне, но что значил этот довод (при всей его убедительности) по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. «Значит, гвоздь не в порядке», — подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что молоток, вогнавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно, опять впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась — сама по себе или с чьей-нибудь помощью, — пружина закрепляла ее на месте; полицейские же действие пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос, как преступник спустился вниз.

Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. Футах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду ferrades, как называют их парижские плотники; они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь — одностворчатую, — с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Л'Эспанэ шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае — не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что, если до конца распахнуть ставень над

изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута на два с половиной (при условии, что ставень открыт настежь), грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, — и это главное, — хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что «в моих интересах», как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина — вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том,

чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорил; с другой — крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии — резкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога…

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена: так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал:

— Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почем знать, может быть, в комоде и не было ничего, кроме найденных вещей? Мадам Л’Эспанэ и ее дочь жили затворницами, никого не принимали

и мало где бывали, — зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему, наконец, не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых?

А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мосье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах — дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения — это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности, — а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их при-

несли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник — совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, — своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, — обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется неимоверная силища, чтобы затолкать тело в трубу — *снизу вверх,* когда лишь совместными усилиями нескольких чело-

век удалось извлечь его оттуда *сверху вниз*...

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать — тридцать волосков! Вы, так же как и я, видели эти космы. На корнях — страшно сказать! — запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа, — красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано — голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспанэ. Мосье Дюма и его достойный коллега мосье Этьенн считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, — и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла

возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня прямо-таки в жар бросило от этого вопроса.

— Безумец, совершивший это злодеяние, — сказал я, — бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

— Что ж, не так плохо, — одобрительно заметил Дюпен, — в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не

похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспанэ. Что вы о них скажете?

— Дюпен, — воскликнул я, вконец обескураженный, — это более чем странные волосы — они не принадлежат человеку!

— Я этого и не утверждаю, — возразил Дюпен. — Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как «темные кровоподтеки и следы ногтей» на шее у мадемуазель Л'Эспанэ, а в заключении господ Дюма и Этьенна фигурирует как «ряд сине-багровых пятен — по-видимому, отпечатки пальцев».

— Рисунок, как вы можете судить, — продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги, — дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

— Нет, постойте, сделаем уж все как следует, — остановил меня Дюпен. — Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот поленце примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

— Похоже, — сказал я наконец, — что это отпечаток не человеческой руки.

— А теперь, — сказал Дюпен, — прочтите этот абзац из Кювье.

То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

— Описание пальцев, — сказал я, закончив чтение, — в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.

— Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу: «mon Dieu!» Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня и тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, непричастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «Монд» — газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, — это объявление наверняка

приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

> «ПОЙМАН в Булонском лесу – ранним утром – такого-то числа сего месяца (в утро, когда произошло убийство) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом №… на улице… в Сен-Жерменском предместье; справиться на пятом этаже».

— Как же вы узнали, — спросил я, — что человек этот матрос с мальтийского корабля?

— Я этого не знаю, — возразил Дюпен. — И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы, — вы знаете эти излюбленные моряками queues[15]. К тому же таким узлом мог завязать

---

[15] Сноски: 15

Здесь: косицы; буквально: хвосты *(фр.)*.

ее только моряк, скорее всего мальтиец. Я нашел эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в своем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав — это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать: «Я не виновен; к тому же человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вот он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции ввек не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили — попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют — владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей

собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин — я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».

На лестнице послышались шаги.

— Держите пистолеты наготове, — предупредил меня Дюпен, — только не показывайте и не стреляйте — ждите сигнала.

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

— Войдите! — весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему матрос, — высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем, приятный

малый. Лихие бачки и mustachio[16] больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера; говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшательским акцентом; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

— Садитесь, приятель, — приветствовал его Дюпен. — Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепный экземпляр, и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

— Вот уж не знаю, — ответил он развязным тоном. — Годика четыре-пять — не больше. Он здесь, в доме?

— Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права?

— За этим дело не станет, мосье!

---

[16] Сноски: 16
Усы *(ит.).*

— Прямо жалко расстаться с ним, — продолжал Дюпен.

— Не думайте, мосье, что вы хлопотали задаром, — заверил его матрос. — У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкуемся!

— Что ж, — сказал мой друг, — очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

— Зря пугаетесь, приятель, — успокоил его Дюпен. — Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека: у нас самые добрые намерения. Мне хорошо известно, что вы не виновны в этих

ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена возымели действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

— Будь что будет, — сказал он, помолчав. — Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне Бог! Вы, конечно, не поверите — я был бы дураком, если б надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на

прогулку в глубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, — это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, — он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив

это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, — а там на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспанэ, на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскарабкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но,

поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспанэ и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они, очевидно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Л'Эспанэ за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на ночь), и, в подражание парикмахеру, поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения орангутанга, разбудив в нем

ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо, не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом обнаружили, а труп старухи не долго думая швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной

твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в Jardin des Plantes[17]. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпеном явились к префекту и обо всем ему рассказали (Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев). При всей благосклонности к моему другу, сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

---

[17] Сноски: 17
Ботанический сад *(фр.).*

— Пусть ворчит, — сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом. — Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука — сплошное верхоглядство. У нее одна лишь голова, без тела, как изображают богиню Лаверну, или в лучшем случае — голова и плечи, как у трески. Но что ни говори, он добрый малый; в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере «de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas»[18].

1841

[18] Сноски: 18

Отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует *(фр.)*.

Тайна Мари Роже

Параллельно с реальными событиями существует идеальная их последовательность. Они редко полностью совпадают. Люди и обстоятельства обычно изменяют идеальную цепь событий, а потому она кажется несовершенной, и следствия ее равно несовершенны. Так было с Реформацией – взамен протестантства явилось лютеранство.

Новалис. Взгляд на мораль

[19][20]

Мало какому даже самому рассудочному чело-

---

[19] Сноски: 19

© Перевод. И. Гурова, наследники, 2002.

[20] Сноски: 20

«Мари Роже» впервые была опубликована без примечаний, поскольку тогда они казались излишними; однако со времени трагедии, которая легла в основу этой истории, прошли годы, а потому появилась нужда и в примечаниях, и в небольшом вступлении, объясняющем суть дела. В окрестностях Нью-Йорка была убита молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс, и хотя это убийство вызвало большое волнение и очень долго оставалось в центре внимания публики, его тайна еще не была раскрыта в тот момент, когда был написан и опубликован на стоящий рассказ (в ноябре 1842 г.). Автор, якобы описывая судьбу французской гризетки, на самом деле точно и со всеми подробностями воспроизвел основные факты убийства Мэри Роджерс, ограничиваясь параллелизмами в менее существенных деталях.

«Тайна Мари Роже» писалась вдали от сцены зверского убийства, и, расследуя его, автор мог пользоваться только сведениями, опубликованными в газетах. В результате от него ускользнуло многое из того, чем он мог бы воспользоваться, если бы лично побывал на месте происшествия. Тем не менее будет, пожалуй, нелишним указать, что признания двух лиц (одно из них выведено в рассказе под именем мадам Дюлюк), сделанные независимо друг от друга и много времени спустя после опубликования рассказа, полностью подтвердили не только общий вывод, но и абсолютно все основные предположения, на которых был этот вывод построен. — *Примеч. авт.*

веку не случалось порой со смутным волнением почти уверовать в сверхъестественное, столкнувшись с совпадением настолько поразительным, что разум отказывается признать его всего лишь игрой случая. Подобные ощущения (ибо смутная вера, о которой я говорю, никогда полностью не претворяется в мысль) редко удается до конца подавить иначе, как прибегнув к доктрине случайности или — воспользуемся специальным ее наименованием — к теории вероятности. Теория же эта является по самой своей сути чисто математической; и, таким образом, возникает парадокс — наиболее строгое и точное из всего, что дает нам наука, прилагается к теням и призракам наиболее неуловимого в области мысленных предположений.

Невероятные подробности, которые я призван теперь сделать достоянием гласности, будучи взяты в хронологической их последовательности, складываются в первую ветвь необычайных совпадений, а во второй и заключительной их ветви все читатели, несомненно, узнают недавнее убийство в Нью-Йорке Мэри Сесилии Роджерс.

Когда в статье, озаглавленной «Убийство на улице Морг», я год назад попытался описать некоторые примечательные особенности мыш-

ления моего друга шевалье С.-Огюста Дюпена, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь вновь вернусь к этой теме. Именно это описание было моей целью, и она нашла свое полное осуществление в рассказе о прихотливой цепи происшествий, которые позволили раскрыться особому таланту Дюпена. Я мог бы привести и другие примеры, но они не доказали бы ничего, кроме уже доказанного. Однако удивительный поворот недавних событий нежданно открыл мне новые подробности, которые облекаются в подобие вынужденной исповеди. После того, что мне довелось услышать совсем недавно, было бы странно, если бы я продолжал хранить молчание относительно того, что я слышал и видел задолго перед этим.

Раскрыв тайну трагической гибели мадам Л'Эспанэ и ее дочери, шевалье тотчас выбросил все это дело из головы и возвратился к привычным меланхолическим раздумьям. Его настроение вполне отвечало моему неизменному тяготению к отрешенности, и, как прежде замкнувшись в нашем тихом приюте в предместье Сен-Жермен, мы оставили Будущее на волю судьбы и предались безмятежному спокойствию Настоящего, творя грезы из окружающего нас скучного мира.

Но эти грезы время от времени нарушались. Нетрудно догадаться, что роль моего друга в драме, разыгравшейся на улице Морг, не могла не произвести значительного впечатления на парижскую полицию. У ее агентов имя Дюпена превратилось в присловье. Того простого хода рассуждений, который помог ему раскрыть тайну, он, кроме меня, не сообщил никому — даже префекту, — а потому неудивительно, что непосвященным эта история представлялась истинным чудом, и аналитический талант шевалье принес ему славу провидца. Если бы он отвечал на любопытные расспросы с достаточной откровенностью, это заблуждение скоро рассеялось бы, но душевная леность делала для него невозможным какое бы то ни было возвращение к теме, которая давно уже перестала интересовать его самого. Вот почему взгляды полицейских постоянно устремлялись к нему и префектура вновь и вновь пыталась прибегнуть к его услугам. Одна из наиболее примечательных таких попыток была вызвана убийством молоденькой девушки по имени Мари Роже.

Это случилось года через два после жуткого события на улице Морг. Мари (поразительное совпадение ее имени и фамилии с именем и

фамилией злополучной продавщицы сигар сразу бросается в глаза) была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Ее отец умер, когда она была еще младенцем, и вплоть до последних полутора лет перед убийством, о котором пойдет речь в этом повествовании, мать и дочь жили вместе на улице Паве-Сент-Андре[21]. Мадам Роже содержала пансион, а Мари ей помогала. Так продолжалось до тех пор, пока Мари не исполнилось двадцать два года, — а тогда ее редкая красота привлекла внимание парфюмера, снимавшего лавку в нижнем этаже Пале-Рояля и числившего среди своих клиентов почти одних только отчаянных искателей легкой наживы, которыми кишит этот квартал. Мосье Леблан[22] отлично понимал, что присутствие красавицы Мари в его лавке может принести ему немалые выгоды, и его щедрые посулы сразу же прельстили девушку, хотя ее маменька выказала гораздо больше нерешительности.

Надежды парфюмера вполне сбылись, и его заведение благодаря чарам бойкой гризетки скоро приобрело значительную популярность. Мари

---

[21] Сноски: 21
Нассау-стрит. — *Примеч. авт.*

[22] Сноски: 22
Андерсон. — *Примеч. авт.*

уже служила у мосье Леблана около года, когда она внезапно исчезла из его лавки, повергнув своих поклонников в большое смятение. Мосье Леблан не знал, чем объяснить ее отсутствие, а мадам Роже была вне себя от тревоги и страшных опасений. Происшествие попало в газеты, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, как вдруг в одно прекрасное утро ровно через неделю Мари вновь появилась на своем обычном месте за прилавком, живая и здоровая, хотя как будто и погрустневшая. Официальное расследование было, конечно, немедленно прекращено, а на все расспросы мосье Леблан по-прежнему отговаривался полным неведением, мадам же Роже и Мари отвечали, что прошлую неделю она гостила у родственницы в деревне. На том дело и кончилось, а затем и вовсе изгладилось из памяти публики, тем более что девушка, желая, по-видимому, избежать назойливого внимания любопытных, вскоре навсегда покинула парфюмера и вернулась в материнский дом на улице Паве-Сент-Андре.

Примерно через три года после возвращения Мари к матери ее друзья были встревожены новым внезапным исчезновением девушки. Три дня о ней ничего не было известно. На четвертый

день ее труп обнаружили в Сене[23] — у берега, противоположного тому, на котором находится квартал Сент-Андре, в пустынных окрестностях заставы Дюруль[24].

Столь зверское убийство (в том, что это — убийство, никаких сомнений быть не могло), молодость и красота жертвы, а главное, ее недавняя известность пробудили живейший интерес падких до сенсации парижан. Я не припомню никакого другого происшествия, которое вызвало бы столь всеобщее и сильное волнение. В течение нескольких недель эта тема была злобой дня, заслонившей даже важнейшие политические события. Префект усердствовал больше обыкновенного, и парижская полиция, разумеется, совсем сбилась с ног.

Когда труп нашли, все были убеждены, что немедленно предпринятые поиски убийцы увенчаются самым скорым результатом. И только через неделю наконец сочли нужным предложить награду за его поимку, но даже и тогда сумма была ограничена всего лишь тысячью франков. Следствие тем временем велось весьма

---

[23] Сноски: 23
Гудзон. — *Примеч. авт.*

[24] Сноски: 24
Уихокен. — *Примеч. авт.*

энергично, если не всегда разумно, очень много разных людей подверглось ни к чему не приведшим допросам, и отсутствие даже самых слабых намеков на разгадку тайны все больше и больше подогревало интерес к ней. На десятый день пришлось удвоить обещанную награду, а когда по истечении второй недели дело не сдвинулось с места и недовольство полицией, никогда не угасающее в Париже, успело несколько раз привести к уличным беспорядкам, префект лично предложил награду в двадцать тысяч франков «за изобличение убийцы» или же, если бы участников преступления оказалось несколько, «за изобличение кого-либо из убийц». В объявлении об этой награде, кроме того, содержалось обещание полного помилования любому сообщнику, который донес бы на своих соучастников; и к нему, где бы оно ни вывешивалось, присовокуплялось объявление комитета частных граждан, обещавшего добавить десять тысяч франков к сумме, назначенной префектом. Таким образом, в целом награда составляла тридцать тысяч франков: сумма неслыханная, если вспомнить более чем скромное положение девушки и то обстоятельство, что в больших городах подобные возмутительные преступления — отнюдь не

редкость.

Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства будет немедленно раскрыта. И правда, были произведены два-три ареста, однако никаких улик против подозреваемых обнаружить не удалось и их пришлось тут же освободить.

Как ни удивительно, мы с Дюпеном впервые услышали об этом событии, столь взволновавшем общественное мнение, только когда миновала третья неделя после обнаружения трупа — неделя, также не бросившая никакого света на происшедшее. Мы были всецело поглощены одним исследованием и более месяца не выходили из дома, не принимали посетителей и едва проглядывали политические статьи в ежедневно доставлявшейся нам газете. И первое известие об убийстве Мари Роже нам принес сам Г. Он зашел к нам днем 13 июля 18… года и просидел у нас до поздней ночи. Ему было крайне досадно, что все его усилия разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлена, заявил он с чисто парижским жестом, его репутация. Более того — его честь! К нему прикованы глаза всего общества, и нет жертвы, которую он не принес бы ради раскрытия тайны. Свою несколько

витиеватую речь он заключил комплиментом касательно того, что соизволил назвать «тактом» Дюпена, и обратился к моему другу с прямым и, бесспорно, щедрым предложением, о котором я не считаю себя вправе сообщить что-либо, но которое не имеет ни малейшего отношения к непосредственной теме моего повествования.

Комплимент мой друг по мере сил отклонил, но на предложение тотчас согласился, хотя его выгоды оставались пока условными. Покончив с этим, префект немедленно принялся излагать свою собственную точку зрения, уснащая объяснение многочисленными рассуждениями, касавшимися обстоятельств дела, о которых мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя, без сомнения, немалую осведомленность, я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле, как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и, исподтишка заглядывая под их зеленые стекла, я вновь и вновь убеждался, что мой друг крепко спит, — ничем себя не выдав, он так и проспал все семь свинцово-медлительных часов, по истечении которых префект наконец удалился.

Утром я получил в префектуре полное изложение всех собранных фактов, а в газетных редакциях — экземпляры всех газет, в которых были опубликованы какие бы то ни было сведения об этой трагедии. Очищенная от всех безусловно опровергнутых выдумок, история выглядела следующим образом.

Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня 18... года. Уходя, она сообщила некоему мосье Жаку Сент-Эсташу[25] — и только ему, — что намерена провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют две с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-Эсташ был официальным женихом Мари и не только столовался, но и жил в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь, и, полагая, что Мари предпочтет переночевать у тетки (как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах), он не счел нужным

---

[25] Сноски: 25
Пейн. — *Примеч. авт.*

сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже (больная семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что она «уже больше никогда не увидит Мари», но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания.

В понедельник выяснилось, что Мари вообще не заходила к тетке, и когда к вечеру она не вернулась, ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестностей, где она могла бы оказаться. Однако узнать о ней что-то определенное удалось только на четвертый день с момента ее исчезновения. В этот день (в среду 25 июня) некий мосье Бове[26], который вместе с приятелем наводил справки о Мари в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же.

Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась изо рта. Пены, какая бывает у обыкновенных утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев.

---

[26] Сноски: 26
Кроммелин. — *Примеч. авт.*

Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки окостенели. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой полусогнуты. На левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На правой кисти имелись ссадины, так же как и на всей спине — особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег, рыбаки захлестнули его веревкой, но она никаких рубцов не оставила. Шея была сильно вздута. На теле не было заметно ни порезов, ни синяков, причиненных ударами. Шея была перехвачена обрывком кружев, затянутым так туго, что складки кожи совершенно скрывали его от взгляда. Он был завязан узлом, находившимся под левым ухом. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать смерть. Протокол медицинского осмотра не оставлял ни малейших сомнений в целомудрии покойной. Она, указывалось в нем, подверглась грубому насилию. Состояние трупа в момент его обнаружения позволяло легко опознать его.

Одежда была сильно изорвана и приведена в полнейший беспорядок. Из верхней юбки от подола к талии была вырвана полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а

трижды обвернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Вторая юбка была из тонкого муслина, и от нее была оторвана полоса шириной дюймов в восемнадцать — оторвана полностью и очень аккуратно. Эта полоса муслина была свободно обвернута вокруг шеи и завязана неподвижным узлом. Поверх этой муслиновой полосы и обрывка кружев проходили ленты шляпки. Эти ленты были завязаны не бантом, как их завязывают женщины, а морским узлом.

После опознания труп против обыкновения не был увезен в морг (это сочли излишней формальностью), а поспешно погребен неподалеку от того места, где его вытащили на берег. Благодаря усилиям Бове дело, насколько это было возможно, замяли, и прошло несколько дней, прежде чем оно привлекло внимание публики. Затем, однако, им занялась еженедельная газета[27], труп был эксгумирован и вновь подвергнут осмотру, но ничего, помимо вышеописанного, обнаружено не было. Правда, на этот раз платье, шляпку и прочее предъявили матери и знакомым покойной, и они без колебаний опознали в них одежду,

---

[27] Сноски: 27
Нью-йоркская «Меркюри». — *Примеч. авт.*

в которой девушка ушла из дома в то утро.

Тем временем возбуждение публики росло с каждым часом. Несколько человек были арестованы, но отпущены. Главное подозрение падало на Сент-Эсташа, и вначале он не сумел достаточно убедительно объяснить, как он провел роковое воскресенье. Однако вскоре он представил мосье Г. в письменном виде точные сведения о том, где и когда он был в этот день, подкрепленные надежными свидетельскими показаниями. По мере того как дни проходили, не принося никаких новых открытий, по городу начали распространяться тысячи противоречивых слухов, а журналисты принялись строить всевозможные догадки и предположения. Среди этих последних наибольший интерес вызвало утверждение, будто Мари Роже жива, а из Сены был извлечен труп какой-то другой несчастной девушки. Я считаю своим долгом познакомить читателя с отрывками из статьи, содержавшей вышеуказанное предположение и опубликованной в «Этуаль»[28] — газете достаточно солидной.

«Мадемуазель Роже ушла из мате-

---

[28] Сноски: 28
Нью-йоркская «Бразер Джонатан». — *Примеч. авт.*

ринского дома утром в воскресенье 22 июня 18… года, объявив, что намерена навестить тетку или какую-то другую родственницу, проживающую на улице Дром. С этого момента, насколько удалось установить, ее никто не видел. Она исчезла бесследно, и ее судьба остается неизвестной… До сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее в тот день после того, как за ней закрылась дверь материнского дома… Итак, хотя мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня, у нас есть неопровержимые доказательства, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в двенадцать часов дня в Сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло – даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку не позже чем через три часа после того, как она ушла из дому, – всего лишь через трое суток после ее ухода, через трое суток час в час. Однако было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если она действительно бы-

ла убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Те, кто творит столь гнусные преступления, предпочитают ночной мрак свету дня… Другими словами, если тело, найденное в реке, это действительно тело Мари Роже, оно могло пробыть в воде не более двух с половиной или – с большой натяжкой – ровно трех суток. Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее чем через шесть – десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. Итак, мы должны задать себе вопрос: что в этом случае вызвало отклонение от обычных законов природы?…Если же изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны

были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы труп всплыл так скоро, даже если его бросили в реку через два дня после убийства. И далее, весьма маловероятно, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы ни малейшего труда».

По мнению автора статьи, этот труп должен был пробыть в воде «не каких-то трое суток, а впятеро дольше», поскольку разложение зашло так далеко, что Бове не сразу его опознал. Однако этот довод был полностью опровергнут. Затем в статье говорилось:

«Так каковы же факты, ссылаясь на которые мосье Бове утверждает, будто убитая – без сомнения, Мари Роже? Он разорвал рукав платья убитой и теперь заявляет, что видел особые приметы, вполне его удовлетворившие. Широкой публике, конечно, представляется, что

под этими особыми приметами подразумеваются шрамы или родинки. На самом же деле он потер руку и обнаружил волоски! На наш взгляд, трудно найти менее определенную примету, и убедительна она не более, чем ссылка на то, что в рукаве обнаружилась рука! В этот вечер мосье Бове не вернулся в пансион, а в семь часов послал мадам Роже известие, что расследование касательно ее дочери все еще продолжается. Если даже допустить, что преклонный возраст и горе мадам Роже не позволяли ей самой побывать там (а допустить это очень нелегко!), то, несомненно, должен был найтись кто-то, кто счел бы необходимым поспешить туда и принять участие в расследовании, если они были уверены, что это действительно тело Мари. Но никто туда не отправился. Обитателям дома на улице Паве-Сент-Андре вообще ничего не было сказано, и они даже не слышали о том, что произошло. Мосье Сент-Эсташ, поклонник и жених Мари, живший в пансионе ее матери, показал под присягой, что про обнаружение тела своей нареченной он узнал

только на следующее утро, когда к нему в спальню вошел мосье Бове и рассказал ему о событиях прошлого вечера. Нам кажется, что, учитывая характер новости, она была принята весьма спокойно и хладнокровно».

Вот так газета стремилась создать впечатление, что близкие Мари оставались равнодушными и бездеятельными — картина, несовместимая с предположением, будто они верили, что найден действительно ее труп. Эти инсинуации вкратце сводились к следующему: Мари при пособничестве своих друзей покинула город по причинам, бросающим тень на ее добродетель, и когда из Сены был извлечен труп, имевший некоторое сходство с исчезнувшей девушкой, указанные друзья воспользовались этим, чтобы внушить всем мысль, будто она мертва. Однако «Этуаль» опять излишне поторопилась. Выяснилось, что равнодушие и бездеятельность целиком относятся к области вымыслов, что старушка действительно была очень слаба и волнение лишило ее последних сил, что Сент-Эсташ не только не выслушал это известие с полным хладнокровием, но совсем обезумел от горя, и

мосье Бове, увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на эксгумацию. Более того, хотя «Этуаль» объявила, что труп был вторично погребен на общественный счет, что близкие Мари Роже наотрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны и что никто из них не присутствовал на церемонии, — хотя, повторяю, «Этуаль» утверждала все это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей, каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто. В одном из последующих номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрение на самого Бове. Редактор в своей статье заявил:

> «И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в доме мадам Роже находилась мадам Б., мосье Бове, собиравшийся уходить, сообщил ей, что они ждут жандарма и что она, мадам Б., не должна ничего говорить жандарму до его возвращения, а предоставить все объяснения ему… В настоящий момент, насколько можно заключить, мосье Бове хранит

в своей голове все обстоятельства дела. Без мосье Бове буквально нельзя и шагу ступить, ибо, куда ни поворачиваешь, обязательно натыкаешься на него… По какой-то причине он твердо решил не позволять никому другому принимать участие в расследовании и, как утверждают родственники мужского пола, он оттер их в сторону самым странным образом. Он, как кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп».

Нижеследующий факт как будто подтверждает подозрения, брошенные на Бове этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе Бове, заметил в замочной скважине розу, а на висевшей поблизости грифельной доске было написано «Мари».

Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Мари стала жертвой шайки бандитов, которые увезли ее на тот берег реки, надругались над

ней и убили. Однако «Коммерсьель»[29], газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц.

> «Мы убеждены, что следствие все это время в той мере, в какой оно занималось заставой Дюруль, шло по ложному следу. Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала, а увидевшие ее люди не забыли бы об этом, так как ею интересовались все, кому она была известна. И вышла она из дома в час, когда улицы были полны народа… Прежде чем она достигла бы заставы Дюруль или улицы Дром, ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих, и все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому, и кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула

[29] Сноски: 29
Нью-йоркская «Джорнел оф коммерс». — *Примеч. авт.*

материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса материи была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести, точно узел. Если убийство произошло возле заставы Дюруль, не было бы никаких причин проделывать все это. То обстоятельство, что тело было обнаружено в реке неподалеку от заставы, вовсе не показывает, где именно оно было брошено в воду… От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Однако за день-два до появления у нас префекта полиция получила важные сведения, которые, по-видимому, опровергли большую часть рассуждений «Коммерсьель». Два мальчика, сыновья некой мадам Дюлюк, гуляя в лесу неподалеку от заставы Дюруль, обнаружили в густом кустар-

нике сооруженное из трех-четырех больших камней сиденье со спинкой и приступкой для ног. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Поблизости были затем найдены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была вышита метка «Мари Роже». На ветвях колючих кустов висели лоскутки материи. Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе. Далее, в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое.

Еженедельник «Солей»[30], повторяя мнение всей парижской прессы, оценил эти находки следующим образом:

> «Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель; под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк на зонтике был толстым, но складки его склеились, а верхняя

---

[30] Сноски: 30
Филадельфийская «Сатердей ивнинг пост». — *Примеч. авт.*

сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда его раскрыли, он весь расползся… Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину – шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой, а другой был вырван из юбки гораздо выше оборки. Они выглядели так, словно были оторваны, и висели на терновнике в футе над землей… Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено».

Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Дюлюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные, можно даже сказать — глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье примерно в три часа дня в трактир зашла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом ушли, направившись к расположенному по соседству густому

лесу. Мадам Дюлюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф. Вскоре после ухода молодой пары в трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке.

В тот же вечер, вскоре после того как совсем стемнело, мадам Дюлюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от трактира. Крики были очень громкими, но вскоре оборвались. Мадам Д. опознала не только шарф, но и платье, которое было на трупе. Кучер омнибуса, по фамилии Валанс[31], теперь также показал, что видел в это воскресенье, как Мари переправлялась через Сену в обществе смуглого молодого человека. Он, Валанс, знал Мари и ошибиться не мог. Предметы, найденные в чаще, все были опознаны родственниками Мари.

Сведения, которые я таким образом извлек

---

[31] Сноски: 31
Адам. — *Примеч. авт.*

по просьбе Дюпена из газетных статей, включали, кроме вышеперечисленных, только один факт, но факт этот представлялся весьма многозначительным. После того как в чаще были обнаружены шарф и прочие вещи, неподалеку от того места, которое теперь все считали местом убийства, было обнаружено безжизненное или почти безжизненное тело Сент-Эсташа, жениха Мари. Возле валялся пустой флакон — на ярлычке было написано «опиум». Дыхание Сент-Эсташа указывало, что он действительно принял этот яд. Он умер, не приходя в сознание. В кармане у него была найдена записка: коротко упомянув о своей любви к Мари, он сообщал, что намерен наложить на себя руки.

— Мне, разумеется, незачем говорить вам, — сказал Дюпен, внимательно прочитав мои заметки, — что это куда более запутанное дело, чем убийство на улице Морг, от которого оно отличается в одном очень важном отношении, так как представляет собой хотя и зверски-жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного. Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень пре-

ткновения. Вначале ведь даже не сочли нужным назначить награду. Мирмидоняне префекта сразу же представили себе, как и почему могло быть совершено это гнусное преступление. Их воображение было способно нарисовать способ — много способов — его совершения, а также и побудительный мотив — много мотивов. И потому, что какие-то из этих способов и этих мотивов могли оказаться подлинными, им представилось само собой разумеющимся, что один из них и окажется подлинным. Однако легкость, с какой возникали эти различные предположения, и их правдоподобность свидетельствовали о том, что правильное решение найти будет не только не просто, но, наоборот, очень трудно. Я не раз замечал, что в поисках истины логика нащупывает свой путь по отклонениям от обычного и заурядного и что в случаях, подобных этому, следует спрашивать не «что произошло?», а «что произошло необыкновенного, такого, чего не случалось прежде?». Ведя следствие в доме мадам Л'Эспанэ[32], агенты Г. растерялись из-за необычности случившегося, в то время как верно направленный интеллект именно в этой необыч-

[32] Сноски: 32
См.: «Убийство на улице Морг». — *Примеч. авт.*

ности усмотрел бы залог успеха; и тот же самый интеллект с глубоким отчаянием убедился бы в видимой заурядности обстоятельств исчезновения продавщицы парфюмерных товаров, хотя подчиненные префекта как раз в ней увидели обещание легкой победы.

В деле мадам Л'Эспанэ и ее дочери мы с самого начала твердо знали, что речь идет об убийстве. Возможность самоубийства исключалась безусловно. Здесь самоубийство также исключается. Вид трупа, обнаруженного неподалеку от заставы Дюруль, не оставляет никаких сомнений в этом важном вопросе. Однако высказывается предположение, что труп этот — не труп Мари Роже, за поимку убийцы или убийц которой назначена награда и которой касается наш уговор с префектом. Мы оба прекрасно знаем этого господина. И знаем, что слишком доверять ему не следует. Если мы начнем наше расследование с трупа и, отыскав убийцу, тем не менее установим, что это труп какой-то другой женщины, а не Мари, или если мы сразу предположим, что Мари жива и отыщем ее — отыщем целой и невредимой, — то в обоих случаях наши труды пропадут даром, поелику мы имеем дело с мосье Г. Поэтому в наших собственных интересах, если не в интересах

правосудия, мы должны с самого начала удостовериться, что найденный в Сене труп — это действительно труп пропавшей Мари Роже.

Доводы «Этуаль» произвели впечатление на публику, да и сама газета убеждена в их неопровержимости, о чем свидетельствует первая строка одной из напечатанных в ней заметок, посвященных делу Мари Роже. «Несколько утренних газет, — начинается эта заметка, — обсуждают исчерпывающую статью в номере “Этуаль” от понедельника». На мой взгляд, эта статья исчерпывающе доказывает только рвение ее автора. Вообще следует помнить, что наши газеты думают главным образом о том, как создать сенсацию, а не о том, как способствовать обнаружению истины. Последнее становится их задачей, только если это способствует достижению первой и главной их цели. Когда печать всего лишь следует общему мнению (каким бы обоснованным оно ни было), она не обеспечивает себе успеха у толпы. Большинство людей считает мудрецом только того, кто высказывает предположение, идущее вразрез с принятыми представлениями. В логических рассуждениях, не менее чем в литературе, наибольшим и незамедлительным успехом пользуется эпиграмма, и

в обоих случаях она стоит меньше всего.

Я хочу сказать, что предположение, будто Мари Роже еще жива, было подсказано «Этуаль» неожиданностью и мелодраматичностью подобной идеи, а вовсе не ее правдоподобием — и по той же причине она нашла столь благосклонный прием у публики. Давайте разберем по пунктам рассуждения этой газеты, освободив их от той бессвязности и непоследовательности, с какой они изложены в статье.

Прежде всего ее автор стремится доказать, что между исчезновением Мари и обнаружением в реке плывущего трупа прошло слишком мало времени, а потому это не мог быть ее труп. Для достижения своей цели он стремится елико возможно сократить этот интервал. Такое опрометчивое стремление заставляет его сразу же пустить в ход абсолютно безосновательное предположение. «Было бы чистейшей нелепостью считать, — утверждает он, — будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи». Мы немедленно задаем естественный вопрос: почему? Почему было бы нелепостью предположить, что девушку убили через пять минут

после того, как она вышла из дома? Убийства случались во всякое время суток. Но если бы это убийство произошло в течение воскресенья в любую минуту между девятью часами утра и до без четверти двенадцать ночи, убийцы все-таки успели бы «бросить тело в реку до полуночи». Следовательно, произвольная предпосылка автора статьи, в сущности, сводится к тому, что убийство вообще в воскресенье не произошло, а если мы позволим «Этуаль» исходить из такой предпосылки, то должны будем прощать ей любые вольности. Фраза, начинающаяся словами: «Было бы чистейшей нелепостью считать...» — и т. д., независимо от того, в каком виде она появилась на страницах «Этуаль», была порождена следующей мыслью своего творца: «Было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если речь действительно идет об убийстве) могло совершиться настолько быстро после ухода девушки из дома, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи; было бы нелепостью, утверждаем мы, предположить все это и в то же время предположить (как мы твердо решили сделать), что тело было брошено в реку только после полуночи», — фраза достаточно непоследовательная, но далеко не столь абсурдная, как та,

которая появилась в статье.

— Если бы, — продолжал Дюпен, — я хотел просто опровергнуть именно это место в рассуждениях «Этуаль», — то мог бы спокойно ограничиться уже сказанным. Однако нас интересует не «Этуаль», а истина. Рассматриваемая фраза в ее настоящем виде имеет лишь одно содержание, и это содержание я изложил с полной беспристрастностью, но нам важно, не ограничиваясь только словами, проникнуть в мысль, которую эти слова явно должны были выразить, хотя и не выразили. Журналист хотел сказать, что, независимо от того, утром, днем или вечером в воскресенье было совершено это убийство, убийцы вряд ли осмелились бы доставить труп к реке раньше полуночи. И именно в этих словах прячется та произвольная предпосылка, которую я ставлю ему в упрек. Он без каких-либо оснований исходит из предположения, будто убийство было совершено в таком месте и при таких обстоятельствах, что труп обязательно надо было доставлять к реке. А ведь оно могло произойти на берегу или даже на самой реке — тогда труп мог быть брошен в воду в любое время суток, так как это был бы наиболее легкий и естественный способ избавиться от него. Вы, конечно, понима-

ете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я не касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения «Этуаль», обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер ex-parte[33].

И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятых идей, предположив, что этот труп, если он был трупом Мари, мог пробыть в воде лишь очень незначительное время, газета заявляет:

> «Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в воду вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее чем через шесть – десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из

[33] Сноски: 33
Односторонний, предвзятый *(лат.).*

воды».

С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением «Монитер»[34], которая пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к «утопленникам», ссылаясь на пять-шесть случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока, указанного «Этуаль». Однако в этой попытке «Монитер» опровергнуть общее утверждение «Этуаль» ссылками на конкретные противоречащие ему примеры есть что-то глубоко нефилософское. Сошлись «Монитер» не на пять, а на пятьдесят трупов, всплывших через двое-трое суток, все равно эти пятьдесят примеров следовало бы считать лишь исключением из правила, установленного «Этуаль», до тех пор пока не было бы доказано, что само это правило неверно. А если признавать правило («Монитер» же его не отрицает и только указывает на исключения), то рассуждения «Этуаль» сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплыл до истечения трех суток; и эта вероятность будет

---

[34] Сноски: 34
Нью-йоркская «Коммершиэл адвертайзер». — *Примеч. авт.*

свидетельствовать в пользу «Этуаль» до тех пор, пока количество примеров, на которые по-детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле.

Как вы могли заметить, все рассуждения касательно этого пункта должны строиться так, чтобы опровергнуть указанное правило, а для этой цели нам следует рассмотреть его рациональную основу. Начнем с того, что в среднем человеческое тело немногим тяжелее или легче воды Сены; другими словами, удельный вес человеческого тела в обычных условиях примерно равен удельному весу пресной воды, которую вытесняет это тело. Тела тучных, дородных людей с тонкими костями и тела подавляющего большинства женщин легче, чем тела худощавых крупнокостных мужчин; а на удельный вес речной воды оказывает влияние наличие морской воды, поступающей в реки с приливной волной. Но, даже отбросив это наличие морской воды, все-таки можно утверждать, что даже в пресной воде при отсутствии дополнительных причин тонут лишь немногие человеческие тела. Упавший в реку человек почти никогда не пойдет ко дну, если он позволит весу своего тела прийти

в соответствие с весом вытесненной им воды — другими словами, если он погрузится в воду почти целиком. Для людей, не умеющих плавать, наиболее правильной будет вертикальная позиция идущего человека, причем голову следует откинуть и погрузить в воду так, чтобы над ней оставались только рот и нос. Приняв подобную позу, вы обнаружите, что без всяких усилий и труда держитесь у самой поверхности. Однако совершенно очевидно, что вес человеческого тела и воды, которую оно вытесняет, находится лишь в весьма хрупком равновесии, так что достаточно ничтожного пустяка, чтобы оно нарушилось в ту или иную сторону. Например, рука, поднятая над водой и тем самым лишенная ее поддержки, представляет собой добавочный вес, которого достаточно, чтобы голова ушла под воду целиком, тогда как случайно схваченный даже небольшой кусок дерева позволит вам приподнять голову и оглядеться. Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, вскидывает руки и старается держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вздохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое ее количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее

настолько, насколько вода тяжелее воздуха, наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел ко дну, но только не в тех случаях, когда речь идет о людях с тонкими костями и излишками жира на теле. Такие люди, и утонув, продолжают держаться на поверхности.

Труп, опустившийся на дно реки, останется там до тех пор, пока по какой-то причине его вес опять не станет меньше веса вытесняемой им воды. Это может быть связано с разложением или с чем-либо еще. В процессе разложения образуется газ, расширяющий клетки в тканях и все полости, что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы или веса, он становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Однако процесс разложения определяется множеством факторов, он убыстряется или замедляется по множеству причин — тут могут играть роль жара и холод, количество растворенных в воде минеральных веществ, большая или меньшая глубина, наличие или отсутствие течения, температура тела, а также и состояние

здоровья человека перед смертью. Таким образом, совершенно очевидно, что мы не можем даже приблизительно указать срок всплытия трупа в результате разложения. В некоторых условиях это произойдет менее чем через час, а в других — не произойдет вовсе. Есть химикалии, способные полностью и навсегда предохранить животные ткани от гниения, — к ним, например, принадлежит двухлористая ртуть. Однако и помимо разложения в желудке в результате брожения растительной массы (или же в других полостях, по другим причинам) может образовываться — и обычно образуется — газ, который вызывает расширение тела, достаточное для того, чтобы оно всплыло на поверхность. Пушечный выстрел просто производит сильную вибрацию, которая либо высвобождает труп из ила — и он всплывает, потому что был уже почти готов всплыть, либо разрушает какую-то часть уже сгнившей клеточной ткани, препятствовавшей расширению полостей под воздействием газа.

Итак, ознакомившись с философской основой этого предмета, мы с ее помощью легко можем проверить справедливость утверждения «Этуаль». «Как показывает весь прошлый опыт, — заявляет эта газета, — тела утопленников или тела

жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успевают извлечь из воды».

Теперь весь этот абзац выглядит мешаниной натяжек и несуразностей. Весь прошлый опыт отнюдь не показывает, что телу утопленника обязательно требуется шесть — десять дней, прежде чем оно разложится настолько, чтобы всплыть. И наука, и практический опыт свидетельствуют, что период, предшествующий всплытию, должен быть самым неопределенным — каковым он и является. Если же труп всплывет в результате выстрела из пушки, то он «опускается вновь на дно, если его не успеют извлечь из воды» не «вскоре», а только тогда, когда разложение продвинется настолько далеко, что образовавшийся в теле газ найдет выход наружу. Но я хотел бы обратить ваше внимание на различие, сделанное между «телами утопленников» и «телами жертв убийства, брошенных в реку вскоре после наступления смерти». Хотя автор признает это

различие, он тем не менее относит и те и другие тела к одной категории. Я уже объяснил, как именно тело тонущего приобретает больший удельный вес, чем вода, и показал вам, что такой человек не утонул бы, если бы не начал бить руками, высовывая их из воды, и не захлебывался бы, пытаясь вздохнуть, в результате чего в его легкие вместо воздуха попадает вода. Но тело, «брошенное в реку вскоре после наступления смерти», рук не вскидывает и не захлебывается. Следовательно, в этом случае труп, как правило, вообще не утонет — факт, о котором «Этуаль», по-видимому, не осведомлена. Только когда разложение зайдет очень далеко, когда в значительной мере обнажатся кости, только тогда, но не ранее, он скроется под водой.

Так как же должны мы теперь оценивать довод, что найденный труп — это не труп Мари Роже, ибо он плыл по реке, хотя со времени исчезновения девушки прошло всего три дня? Если бы она утонула, то, будучи женщиной, могла вообще не пойти ко дну, а если и пошла, то ее тело могло всплыть меньше чем через сутки. Но ведь никто не высказывает предположения, будто она утонула, а раз ее бросили в воду уже мертвой, тот факт, что тело плыло по реке, ни о каком сроке не гово-

рит: оно и не должно было опускаться на дно.

Но, утверждает «Этуаль», «если изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Здесь в первый момент трудно распознать, куда клонит автор. На самом же деле он хочет предвосхитить возможное возражение против его теории — а именно, что тело оставили лежать двое суток на берегу, где оно разлагалось быстро, быстрее, чем под водой. Он предполагает, что в этом случае оно могло бы всплыть уже в среду, и считает, что всплыть оно могло только при подобных обстоятельствах. А поэтому он торопится показать, что на берегу его не оставляли, ибо тогда «в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Полагаю, ваша улыбка вызвана столь неожиданной причинной связью. Вам непонятно, каким образом одна лишь длительность пребывания трупа на берегу могла способствовать умножению следов, оставленных убийцами. Непонятно это и мне.

«И далее, весьма маловероятно, — продолжает наша газета, — чтобы злодеи, совершившие убийство вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно

какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы никакого труда». Заметьте, какая смехотворная путаница мыслей! Никто — ни даже «Этуаль» — не оспаривает, что женщина, чей труп был извлечен из Сены, была убита. Признаки насильственной смерти слишком уж очевидны. Наш автор ставит себе всего лишь одну цель: убедить читателей, что эта убитая — не Мари. Он стремится доказать не то, что не была убита женщина, чей труп найден, а что не была убита Мари. Однако этот его довод может служить только доказательством первого. Перед нами труп, к которому не привязано никакого груза. Убийцы, бросая его в воду, обязательно привязали бы к нему груз. Отсюда следует, что убийцы его в воду не бросали. Больше ничего подобный аргумент не доказывает — если он вообще что-либо доказывает. Вопрос о личности убитой даже не затрагивается, а «Этуаль» пускается тут в сложные рассуждения всего лишь для того, чтобы опровергнуть собственное признание, которое было сделано несколькими строчками выше: «Мы твердо убеждены, — говорится в них, — что найденное тело — несомненно, труп убитой женщины».

И это — отнюдь не единственный случай, когда

наш автор невольно опровергает сам себя даже только в этой части своих рассуждений. Он, как я уже говорил, несомненно, ставит себе целью елико возможно сократить промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. Тем не менее он настойчиво подчеркивает, что с той минуты, когда девушка вышла из материнского дома, ее никто не видел. «Итак, — говорит он, — мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня». Поскольку его довод явно ex-parte, ему следовало бы по меньшей мере вовсе не упоминать об этом обстоятельстве, так как вышеупомянутый промежуток заметно сократился бы, если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или, например, во вторник, и, согласно его собственным рассуждениям, вероятность того, что был найден труп именно красавицы гризетки, заметно уменьшилась бы. Очень забавно наблюдать, как «Этуаль» настойчиво обращает внимание своих читателей на эту подробность в глубокой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений.

Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Бове. В вопросе о волосках «Этуаль» проявила большую

неуклюжесть. Мосье Бове, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения, употребленного «Этуаль», искажает слова свидетеля. Он, без сомнения, указал на какое-то своеобразие этих волосков — особый цвет, густоту, длину или расположение.

«Ее нога, — пишет газета, — была маленькой, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки — ведь ботинки и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. То же можно сказать о цветах на ее шляпе. Мосье Бове особенно упирает на то, что застежка на подвязке переставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки в лавке перед покупкой». Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы мосье Бове, разыскивая Мари, нашел труп женщины, сложением и внешностью схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания (вообще не рассматривая одежды) счесть, что его поиски увенчались успехом. А если, кроме общего сходства, он обнаружил бы на руке умершей те

своеобразные волоски, которые видел на руке Мари, его уверенность с полным правом могла бы возрасти в степени, прямо пропорциональной необычности этой приметы. Если ноги Мари были маленькими и ноги трупа — тоже, уверенность в том, что это труп именно Мари, возросла бы не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Добавьте ко всему этому ботинки, такие же, какие были на ней в день исчезновения, и пусть даже эти ботинки «продаются тысячами одинаковых пар», вы доведете вероятность уже почти до степени абсолютной несомненности. То, что само по себе не является точной приметой, теперь благодаря своему месту в целом ряду других признаков становится почти неопровержимым доказательством. Добавьте еще цветы на шляпе, такие же, какие носила исчезнувшая девушка, и опознание можно считать полным. Достаточно было бы и одного цветка. Но что, если их два, или три, или больше? Каждый из них не просто дополняет нашу уверенность, но стократ ее умножает. А теперь обнаружим на покойнице такие же подвязки, какие носила живая девушка, — и всякие дальнейшие поиски становятся просто нелепыми. Но оказывается, застежки на этих подвязках были переставлены,

чтоб подогнать их по ноге, — точно так, как Мари затянула свои подвязки незадолго до ухода. После этого сомневаться может только сумасшедший или лицемер. Эластичная природа подвязок уже указывает на необычность такой перестановки застежки. Если предмет способен укорачиваться сам, то дополнительное его укорачивание по необходимости не может не быть редким. То, что подвязки Мари потребовали такой переделки, было случайностью в самом строгом смысле слова. Одних этих подвязок было бы вполне достаточно, чтобы точно установить ее личность. Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки, не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волоски на руке, или что она напоминает Мари сложением и внешностью, — нет, труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор «Этуаль» при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой, его можно было бы объявить сумасшедшим и без заключения медицинской комиссии. Он решил, что будет очень хитро с его стороны прибегнуть к профессиональному языку адвокатов, которые

по большей части удовлетворяются повторением прямолинейных юридических понятий. Кстати, многое из того, что суды отказываются считать доказательствами, является для острого ума наиболее убедительным доказательством. Ибо суд руководствуется общими принципами, определяющими, что составляет доказательство, а что — нет, то есть руководствуется признанными, записанными в кодексах принципами и не склонен отступать от них в конкретных случаях. Несомненно, такое неуклонное следование принципу и полное игнорирование противоречащих ему исключений в конечном счете представляет собой верный способ обнаружения максимума поддающейся обнаружению истины. Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана, однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных ошибок[35].

---

[35] Сноски: 35

«Теория, опирающаяся на качества какого-либо предмета, препятствует тому, чтобы он раскрывался согласно его целям; а тот, кто располагает явлениями, исходя из их причин, перестает оценивать их согласно их результатам. Посему юриспруденция любой страны показывает, что закон, едва он становится наукой и системой, перестает быть правосудием. Не трудно убедиться в ошибках, к которым слепая преданность принципу классификации приводила обычное право, проследив, как часто законодательным органам приходилось вмешиваться и восстанавливать справедливость, которую оно успело утратить». *Лендор. — Примеч. авт.*

Что касается инсинуаций, направленных против Бове, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений. Истинный характер этого господина вам, разумеется, уже ясен. Это романтичный и не очень умный любитель совать нос в чужие дела. Каждый человек подобного типа в действительно серьезных случаях обычно ведет себя так, что вызывает подозрение у излишне проницательных или не расположенных к нему людей. Мосье Бове (как вытекает из ваших заметок) имел личную беседу с редактором «Этуаль» и задел его самолюбие, настаивая на том, что труп, вопреки теории редактора, все-таки и без всяких сомнений труп Мари Роже. «Он, — говорит газета, — упрямо утверждает, что это — труп Мари, но не может сослаться в подтверждение ни на какие более убедительные для других приметы, кроме тех, которые мы уже обсудили». Не возвращаясь к вопросу о том, что «более убедительные для других приметы» найти вообще невозможно, надо указать на следующее: в подобного рода делах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается опреде-

лению. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор «Этуаль» не имеет права обижаться на мосье Бове за его нерассуждающую уверенность.

Связанные с ним подозрительные обстоятельства куда легче объяснить, исходя из моего представления о нем как о романтическом любителе совать нос в чужие дела, чем из виновности, которую обиняком пытается ему приписать автор статьи. Если мы будем исходить из более милосердного предположения, то легко поймем и розу в замочной скважине, и «Мари» на грифельной доске, и «оттирание в сторону родственников мужского пола», и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б., указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его (Бове) возвращения, и, наконец, его твердую решимость «не позволять никому другому принимать участие в расследовании». Мне представляется безусловным, что Бове был поклонником Мари, что она с ним кокетничала и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и расположением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опро-

вергают утверждение «Этуаль» относительно равнодушия матери Мари и других ее родственников — равнодушия, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари, — мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к полному нашему удовлетворению.

— А что вы думаете, — спросил я, — о предположениях «Коммерсьель»?

— Я думаю, что по своему духу они заслуживают значительно большего внимания, чем все прочие мнения, высказанные об этом деле. Выводы из предпосылок философски верны и остроумны, однако по меньшей мере в двух случаях предпосылки опираются на неточные наблюдения. «Коммерсьель» дает понять, что Мари неподалеку от дома ее матери схватила шайка негодяев. «Невозможно предположить, — настаивает газета, — чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала». Такую мысль мог высказать лишь мужчина, коренной парижанин, видный член общества, который, как правило, ходит только по определенным улицам в деловой части города. Он по опыту знает, что

ему редко удается пройти пять кварталов от своей конторы без того, чтобы его кто-нибудь не узнал и не заговорил с ним. Он знает обширность своих знакомств и, сравнивая собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной лавки, не обнаруживает существенной разницы, а потому тут же приходит к заключению, что и ее на улице должны узнавать не реже, чем его. Но так могло бы быть только, если бы она, подобно ему, ходила одним и тем же неизменным путем в пределах четко ограниченной части города. Он проходит туда и обратно в определенные часы, и его маршрут пролегает по улицам, где ему на каждом шагу встречаются люди, интересующиеся им из-за общности их занятий. Мари же в своих прогулках вряд ли придерживалась какого-либо определенного маршрута. А в данном случае наиболее вероятным будет предположение, что она избрала путь, как можно более отличавшийся от обычных. Сопоставление, которое, как мы полагаем, подразумевала «Коммерсьель», оказалось бы справедливым, только если бы два сопоставляемых индивида прошли через весь город. В этом случае, при условии равной обширности круга их знакомств, были бы равны и их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же

считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она. Рассматривая этот вопрос наиболее полно и правильно, мы должны все время помнить о колоссальном несоответствии между кругом знакомств даже самого известного парижанина и всем населением Парижа.

Если предположение «Коммерсьель» тем не менее еще сохраняет некоторую силу, нам следует вспомнить час, в который Мари вышла из дома. «И она вышла из дома в час, — утверждает «Коммерсьель», — когда улицы были полны народа». Однако дело обстояло по-другому. Это произошло в девять часов утра. Действительно, в девять часов утра улицы бывают полны народа в любой день недели, кроме воскресенья. В воскресенье же в девять часов утра горожане обычно бывают дома, собираясь идти в церковь. Любой наблюдательный человек, несомненно, замечал особую пустынность городских улиц в воскресное утро с восьми до десяти часов. Между десятью и одиннадцатью часами их действитель-

но заполняют прохожие, но не ранее, не в час, о котором идет речь.

Наблюдательность изменила «Коммерсьель» и в другом случае. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки, — указывает газета, — был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут. Из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками». Насколько это предположение основательно само по себе, мы рассмотрим позже, но, во всяком случае, под «субъектами, не располагающими носовыми платками», автор подразумевает бродяг самого низшего разбора. Однако именно у них всегда бывают платки, даже у тех, у кого и рубашки нет. Вероятно, вы заметили, что за последние годы платки превратились в обязательную принадлежность всего городского отребья.

— А как следует оценить статью в «Солей»? — спросил я.

— Очень жаль, что ее сочинитель не родился попугаем — в этом случае он, несомненно, стал бы самым знаменитым попугаем на свете. Он всего-навсего повторяет отдельные положения из того,

что уже было высказано кем-то другим, разыскивая их с похвальным трудолюбием на страницах чужих газет. «Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель, и не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено». Факты, которые тут вновь перечисляет «Солей», моих сомнений отнюдь не рассеивают, и подробнее мы о них поговорим позднее, в связи с еще одним аспектом этой темы.

А пока нам следует заняться другими вопросами. Вы, несомненно, обратили внимание на чрезвычайную небрежность осмотра трупа. Да, конечно, личность убитой была установлена достаточно быстро, но многое осталось невыясненным. Был ли труп ограблен? Надела ли убитая, выходя из дому, какие-нибудь дорогие украшения? А если да, то были ли они найдены на ее теле? На эти весьма важные вопросы материалы расследования не дают никакого ответа, без внимания остались и другие, столь же существенные моменты. Мы должны попробовать сами восполнить эти пробелы. Необходимо заново рассмотреть роль Сент-Эсташа. У меня нет против него никаких подозрений, но нам следует действовать систематически. Мы при-

дирчиво проверим его письменное показание о том, где и когда он был в то воскресенье. Такого рода показания нередко оказываются весьма ненадежными. Но если мы не обнаружим в них никаких противоречий, то больше Сент-Эсташем заниматься не будем. Однако его самоубийство, хотя оно и усугубило бы подозрения против него в случае, если бы нам удалось доказать лживость этих показаний, вполне объяснимо, если они верны, а потому из-за него нам незачем изменять обычные методы анализа.

Я предлагаю пока не заниматься непосредственно самим трагическим событием, а сосредоточить наше внимание на предшествовавших и сопутствовавших ему обстоятельствах. Одна из частых и отнюдь не наименьших ошибок подобного рода расследований заключается в том, что расследуется только самый факт, а все непосредственно или косвенно с ним связанное полностью игнорируется. Суды совершают значительный промах, ограничивая рассмотрение улик и свидетельских показаний лишь теми, связь которых с делом представляется непосредственной и очевидной. Однако, как не раз показывал прошлый опыт и как всегда покажет истинная философия, значительная, если не подавляющая часть

истины раскрывается через обстоятельства, на первый взгляд совершенно посторонние. Именно дух, если не буква этого принципа, лежит в основе решимости современной науки опираться на непредвиденное. Но, возможно, вам непонятны мои слова. История накопления человеческих знаний непрерывно доказывает одно: наибольшим числом самых ценных открытий мы обязаны сопутствующим, случайным или непредвиденным обстоятельствам, а потому в конце концов при обзоре перспектив на будущее стало необходимым отводить не просто большое, но самое большое место будущим изобретениям, которые возникнут благодаря случайности и вне пределов предполагаемого и ожидаемого. Теперь стало несовместимым с философией строить прогнозы грядущего, исходя только из того, что уже было. Случай составляет признанную часть таких построений. Мы превращаем случайность в предмет точных исчислений. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое научным математическим формулам.

Как я уже говорил, наибольшая часть истины была открыта благодаря побочным обстоятельствам; и в соответствии с духом принципа, стоящего за этим фактом, я в данном случае пе-

ренесу расследование с истоптанной и до сей поры неплодородной почвы самого события на обстоятельства, ему сопутствовавшие. Вы будете проверять истинность показаний, подтверждающих, где и когда был в то воскресенье Сент-Эсташ, а я тем временем проштудирую газеты не столь целенаправленно, как сделали это вы. Пока мы лишь произвели предварительную разведку, но будет весьма странно, если широкое ознакомление с прессой, которое я намерен предпринять, не откроет какие-нибудь второстепенные подробности, которые, в свою очередь, подскажут нам, в каком направлении надо вести расследование.

Выполняя поручение Дюпена, я скрупулезно изучил вышеупомянутые показания и убедился в их истинности, а следовательно, и в невиновности Сент-Эсташа. Тем временем мой друг с тщанием, которое представлялось мне совершенно излишним, просматривал одну газетную подшивку за другой. Через неделю он положил передо мной следующие выдержки:

«Примерно три с половиной года назад волнение, весьма напоминающее нынешнее, было вызвано исчезновением той же самой Мари Роже из парфюмерной лавки мосье Леблана в Пале-Рояль. Однако неделю спустя она вновь появилась за своим прилавком, живая и невредимая, хотя, правда, чуть более бледная, чем прежде. Мосье Леблан и ее мать заявили, что она просто уезжала к какой-то подруге в деревню, и дело быстро замяли. Мы полагаем, что и нынешнее исчезновение вызвано сходной причиной и что по истечении недели или, быть может, месяца мы снова увидим ее среди нас».

(«Вечерняя газета»[36], понедельник 23 июня.)

[36] Сноски: 36
Нью-йоркская «Экспресс». — *Примеч. авт.*

«Одна из вечерних газет сослалась вчера на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Известно, что ту неделю, пока ее не было в лавке мосье Леблана, она провела в обществе молодого морского офицера, имеющего репутацию кутилы и повесы. Полагают, что вследствие ссоры она, к счастью, вернулась домой вовремя. Нам известно имя этого Лотарио, находящегося в настоящее время в Париже, но по понятным причинам мы не предаем его гласности».

(«Меркюри»[37], вторник 24 июня, утренний выпуск.)

[37] Сноски: 37
Нью-йоркская «Геральд». — *Примеч. авт.*

«Позавчера в окрестностях нашего города было совершено возмутительнейшее преступление. Некий господин в сумерках нанял шестерых молодых людей, которые катались на лодке по Сене, перевезти его с женой и дочерью через реку. Когда лодка причалила к противоположному берегу, трое пассажиров высадились и успели отойти на такое расстояние, что река скрылась из виду, но тут дочь заметила, что забыла в лодке зонтик. Она вернулась за ним, но негодяи схватили ее, заткнули ей рот кляпом, вывезли на середину реки, учинили над ней зверское насилие и в конце концов высадили на берег примерно там же, где она вошла в лодку со своими родителями. Преступники скрылись, но полиция напала на их след, и кое-кто из них скоро будет арестован».

(«Утренняя газета»[38], 25 июня.)

---

[38] Сноски: 38
Нью-йоркская «Курьер энд инквайрер». — *Примеч. авт.*

«Мы получили несколько писем, цель которых – доказать, что виновником недавнего зверского преступления был Менэ[39], но поскольку после официального расследования он был полностью оправдан, а доводы этих наших корреспондентов продиктованы более желанием обнаружить преступника, нежели фактами, мы не считаем возможным опубликовать их».

(«Утренняя газета», 28 июня.)

[39] Сноски: 39

Менэ был одним из тех, кого вначале арестовали по подозрению, но затем отпустили за полным отсутствием улик. — *Примеч. авт.*

«Мы получили несколько гневных писем, по-видимому, принадлежащих перу разных лиц, которые дышат уверенностью, что злополучная Мари Роже стала жертвой одной из многочисленных бандитских шаек, которые по воскресеньям наводняют окрестности города. Это предположение полностью соответствует нашему собственному мнению. Несколько позже мы попробуем найти место для некоторых из этих писем на наших страницах».

(«Вечерняя газета»[40], вторник 30 июня.)

[40] Сноски: 40
«Нью-Йорк ивнинг пост». — *Примеч. авт.*

«В понедельник один из лодочников, служащих в налоговом управлении, заметил пустую лодку, плывущую вниз по Сене. Паруса лежали свернутыми на дне лодки. Лодочник отбуксировал ее к своей пристани. На следующее утро ее забрали оттуда без ведома местного начальства. Ее руль находится в конторе пристани».

(«Дилижанс»[41], вторник 26 июня.)

Я прочел эти разнообразные выдержки, и они не только показались мне совершенно не связанными между собой, но я не мог вообразить, какое отношение они имели к делу, которым мы занимались. И я стал ждать объяснений Дюпена.

— Пока, — сказал он, — я не намерен останавливаться на первой и второй вырезках. Я дал их вам главным образом для того, чтобы показать всю степень непростительной небрежности нашей полиции, которая, насколько я понял из слов префекта, даже не потрудилась хотя бы навести справки об этом морском офицере. А ведь утверждать, что между первым и вторым исчезновением Мари невозможно хотя бы

---

[41] Сноски: 41
Нью-йоркская «Стандард». — *Примеч. авт.*

предположительно усмотреть никакой связи, по меньшей мере глупо. Допустим, что первое бегство из дома закончилось ссорой и обманутая девушка вернулась к матери. Теперь мы готовы рассмотреть второе бегство (если нам известно, что это именно бегство) скорее как свидетельство того, что обманщик возобновил свои ухаживания, чем как результат новых предложений кого-то еще, — нам легче счесть его возобновлением старого романа после примирения, чем началом нового. Десять шансов против одного, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, миновавшее между первым, несомненным, бегством, и вторым, предполагаемым, лишь на несколько месяцев превышает обычный срок дальнего плаванья наших военных кораблей. Быть может, соблазнитель в первый раз не сумел привести в исполнение свое низкое намерение, так как должен был уйти в море, и, едва вернувшись, вновь приступил к осуществлению своего незавершенного гнусного плана — во всяком случае, не завершенного им самим? Об этом нам

ничего не известно.

Однако вы возразите, что во втором случае бегства с любовником не было. Безусловно так — но возьмемся ли мы утверждать, что оно и не предполагалось? Кроме Сент-Эсташа и, быть может, Бове, у Мари, насколько нам известно, не было признанных поклонников, ухаживавших за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом мы не находим никаких упоминаний. Так кто же этот тайный возлюбленный, о котором родственники (во всяком случае, большинство из них) не знают ничего, но с которым Мари встречается утром в воскресенье и которому она так доверяет, что без опасения остается в его обществе до тех пор, пока вечерний сумрак не окутывает пустынные рощи неподалеку от заставы Дюруль? Кто этот тайный возлюбленный, спрашиваю я, о ком, во всяком случае, большинство родственников ничего не знает? И что означает странное пророчество мадам Роже, произнесенное утром в воскресенье после ухода Мари? Это ее «боюсь, я уже больше никогда не увижу Мари»?

Но если мы не можем вообразить, что мадам Роже знала о предполагаемом бегстве, то разве непозволительно будет допустить, что сама девушка такие планы строила? Уходя, она ска-

зала, что идет навестить тетку, и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером на улицу Дром. На первый взгляд это обстоятельство как будто опровергает мое предположение. Однако поразмыслим. Точно известно, что она с кем-то встретилась и что она отправилась с этим человеком за реку, оказавшись в окрестностях заставы Дюруль в три часа дня, то есть через несколько часов после ухода из дома. Но, согласившись отправиться туда с этим неизвестным (не важно, ради какой цели, с ведома или без ведома матери), Мари не могла не подумать о том, как она объяснит свой уход, а также об удивлении ее нареченного, Сент-Эсташа, и о подозрениях, которые его охватят, когда, явившись за ней в назначенный час на улицу Дром, он узнает, что она там даже не появлялась, а затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла не подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние Сент-Эсташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапады ей было бы трудно вернуться домой, но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери.

Мы можем предположить, что она рассуждала примерно так: «Я должна встретиться с таким-то человеком, чтобы бежать с ним — или ради какой-то другой цели, известной мне одной. Надо устроить так, чтобы мне не помешали, надо выиграть время, чтобы избежать погони, а потому я скажу, что собираюсь провести день у тетушки на улице Дром, и попрошу Сент-Эсташа, чтобы он не заходил за мной, пока не стемнеет. Таким образом, до начала вечера мое отсутствие ни у кого не вызовет ни беспокойства, ни подозрений, и я выиграю времени больше, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он раньше туда не явится, но если я не скажу ему ничего, то выиграю времени гораздо меньше, так как меня будут ждать дома в более ранний час и мое отсутствие скорее вызовет тревогу. Если бы я собиралась вернуться — если бы я хотела только прогуляться с тем человеком, — то я не попросила бы Сент-Эсташа зайти за мной, поскольку в этом случае он наверняка узнал бы, что я его обманула, тогда как мне ничего не стоило бы скрыть от него это, если бы я ничего ему не сказала, вернулась бы домой до сумерек, а потом объявила бы, что была в гостях у тетушки на улице Дром. Но раз я вообще не наме-

рена возвращаться — во всяком случае, не ранее чем через несколько недель или же только после принятия некоторых мер предосторожности, — мне следует думать лишь о том, как выиграть побольше времени, и ни о чем другом».

Как вы указываете в своих заметках, с самого начала общее мнение касательно этого печального происшествия склонялось к тому, что Мари Роже стала жертвой шайки хулиганов. Ну а при определенных обстоятельствах общее мнение не следует игнорировать. Когда оно возникает само собой — когда оно появляется строго самопроизвольно, — его следует рассматривать как аналогию той интуиции, которой бывают наделены гениальные люди. И в девяноста девяти случаях из ста я соглашусь с ним. Но необходимо твердо знать, что оно никем и ничем не подсказано. Это мнение должно быть строго мнением самого общества, но такое различие часто бывает довольно трудно уловить и объяснить. В данном случае я вижу, что это «общее мнение» о шайке возникло из-за сходного случая, который подробно описан в третьем из моих извлечений. Весь Париж неистовствует из-за того, что найден труп Мари — молодой, красивой девушки, уже привлекавшей к себе внимание публики. На трупе

обнаружены следы насилия, и он был вытащен из реки. Но тут же становится известно, что тогда же или примерно тогда же, когда была убита Мари Роже, другая девушка подверглась такому же надругательству, как и покойная, хотя и с менее трагическими последствиями, попав в лапы шайки молодых негодяев. Стоит ли удивляться, что достоверные сведения о возмутительном преступлении подействовали на общественное мнение и в связи с другим преступлением, о котором ничего достоверного пока не известно? Общественное мнение искало виновных, и они были услужливо подсказаны ему обстоятельствами другой драмы! Ведь Мари нашли в реке — в той же самой, на которой разыгралась эта вторая драма. Связь этих двух событий на первый взгляд представляется абсолютно очевидной, и было бы поразительно, если бы публика не заметила этого сходства и не ухватилась за него. Однако в действительности подобное преступление скорее доказывает, что второе, совершенное примерно в то же время, носило совсем иной характер. Если бы оказалось, что пока одна шайка мерзавцев в таком-то месте совершала чрезвычайно редкое по гнусности преступление, еще одна такая же шайка в тех же окрестностях того же города при

таких же обстоятельствах, прибегнув к таким же ухищрениям, творила точно такую же гнусность точно в то же время, — это вышло бы за пределы вероятного и могло бы называться чудом! А ведь общественное мнение, сложившееся под воздействием внушения, требует, чтоб мы поверили именно в эту невероятную цепь совпадений.

Прежде чем идти дальше, поговорим о предполагаемом месте убийства — о чаще неподалеку от заставы Дюруль. Эта чаща, хотя и густая, находится возле проезжей дороги. В ее глубине были найдены три-четыре больших камня, сложенные в виде сиденья со спинкой и подножкой. На верхнем камне была найдена белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Там же были обнаружены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была метка «Мари Роже». На ветках вокруг висели лоскутки платья. Земля была истоптана, кусты переломаны, и повсюду виднелись признаки отчаянной борьбы.

Какую бы важность ни придавали газеты этим находкам, с каким бы единодушием ни было решено, что место преступления наконец обнаружено, тем не менее есть немало веских причин для сомнения. Я могу верить или не верить, что преступление было совершено именно там, но

существуют весьма веские причины для сомнения. Если бы, как предположила «Коммерсьель», преступление совершилось где-то неподалеку от улицы Паве-Сент-Андре, его участники, если они остались в Париже, естественно, пришли бы в ужас оттого, что внимание публики оказалось направленным в верную сторону, и у людей определенного умственного склада немедленно возникло бы стремление что-то предпринять, чтобы отвлечь это внимание. А поскольку чаща у заставы Дюруль уже вызывала некоторые подозрения, это могло подсказать им мысль подбросить вещи девушки в то место, где они и были затем найдены. Вопреки убеждению «Солей» нет никаких реальных доказательств того, что вещи пролежали в чаще более трех-четырех дней, тогда как многие косвенные данные свидетельствуют, что они не могли бы остаться там незамеченными в течение тех двадцати суток, которые протекли между роковым воскресеньем и вечером, когда их обнаружили мальчики. «Под действием дождя, — утверждает «Солей», повторяя другие газеты, — они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг них выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк зонтика был толстым, но складки его склеились,

а верхняя, сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда ее раскрыли, он весь расползся». Что касается травы, которая «выросла вокруг них», и стеблей, «кое-где проросших и сквозь них», то эти факты могли быть почерпнуты только из рассказа, а следовательно, из впечатлений двух маленьких мальчиков, так как эти мальчики унесли все найденные ими вещи домой и никто третий в чаще их не видел. Однако в такую теплую и влажную погоду, какая стояла со времени убийства, трава порой вырастает на два-три дюйма в сутки. Зонтик, положенный среди молодой травки, через неделю может быть уже полностью скрыт от взгляда ее вытянувшимися стеблями. Ну а плесень, на которую редактор «Солей» ссылается с таким упорством, что в двух-трех фразах, процитированных мной, он трижды ее упоминает, — неужели этот господин и правда не знает, какова ее природа? Неужели ему надо объяснять, что это одна из разновидностей грибов, а грибам свойственно вырастать и сгнивать на протяжении двадцати четырех часов?

Таким образом, мы сразу видим, что наиболее торжественно преподносимое свидетельство пребывания этих вещей в чаще «не менее трех-четырех недель» абсолютно ничем этого факта

не доказывает. С другой стороны, очень трудно поверить, что эти вещи могли пролежать в указанной чаще дольше недели, то есть дольше, чем от одного воскресенья до другого. Людям, знакомым с окрестностями Парижа, хорошо известно, насколько трудно отыскать там укромное местечко — разве только в большом отдалении от предместий. В этих лесках и рощах просто нельзя вообразить не только уединенного уголка, но даже такого, который посещался бы не очень часто. Пусть-ка любитель природы, прикованный своими обязанностями к пыли и жаре этой огромной столицы, пусть-ка такой человек попробует даже в будний день утолить свою жажду одиночества среди окружающих ее прелестных естественных пейзажей. Их очарование ежеминутно будет нарушаться голосом, а то и появлением какого-нибудь бродяги или же веселящейся компании городских оборванцев. И он тщетно будет искать уединения в гуще деревьев и кустов. Именно там собираются неумытые в наибольшем числе, именно эти храмы подвергаются наибольшему поруганию. И с тоской в сердце такой скиталец устремится назад в осквернённый Париж, ибо в этом средоточии скверны она все же менее бросается в глаза. Но если окрестности города

столь многолюдны в будние дни, насколько больше переполнены они народом в воскресенье! Именно тогда, освободившись на день от необходимости трудиться или же на тот же срок лишившись возможности совершать обычные преступления, подонки города устремляются за его черту не из любви к сельской природе, которую они в глубине души презирают, но чтобы освободиться от уз и запретов, налагаемых на них обществом. Их манит не столько чистый воздух и зелень деревьев, сколько отсутствие какого-либо надзора. Где-нибудь в придорожном трактире или под пологом лесной листвы, вдали от чужих глаз, они в компании собутыльников предаются тому, что сходит у них за веселье — дикому разгулу, порождению безнаказанности и спиртных напитков. И повторяя, что в любой чаще под Парижем означенные вещи могли бы пролежать никем не замеченные дольше, чем от воскресенья до воскресенья, только если бы произошло чудо, я утверждаю лишь то, с чем не может не согласиться любой непредубежденный наблюдатель.

К тому же существует достаточно других оснований подозревать, что вещи эти были подброшены в чащу у заставы с целью отвлечь

внимание от настоящего места преступления. И в первую очередь я хотел бы, чтобы вы заметили, какого числа были найдены вещи. Сопоставьте это число с числом, которым помечено мое пятое извлечение из газет. Вы обнаружите, что открытие это последовало почти немедленно за сообщением вечерней газеты о полученных ею «гневных письмах». Эти письма, различавшиеся по содержанию и, по-видимому, исходившие от разных лиц, все клонили к одному и тому же, а именно — называли виновниками преступления шайку негодяев и указывали на заставу Дюруль как на место, где оно было совершено. Разумеется, никак нельзя считать, что мальчики отправились в чащу и отыскали там вещи Мари Роже вследствие этих писем и того внимания, которое они к себе привлекли; однако может представляться и представляется вполне вероятным, что мальчики не отыскали этих вещей раньше, так как раньше этих вещей в чаще не было, и что их оставили там, только когда газета сообщила о письмах (или же незадолго до этого), сами же виновные авторы указанных писем.

Эта чаща — очень своеобразная чаща, весьма и весьма своеобразная. Она чрезвычайно густа. А внутри между стенами кустов находятся необыч-

ные камни, образующие сиденье со спинкой и подножкой. И эта-то чаща, такая необычная, находилась совсем рядом, всего в нескольких сотнях шагов от жилища мадам Дюлюк, чьи сыновья имели обыкновение обшаривать все соседние кусты, собирая кору сассафраса. Можно ли будет назвать неразумным пари, если я поставлю тысячу франков против одного, что не проходило дня, чтобы хотя бы один из этих мальчуганов не забирался в тенистую естественную беседку и не восседал на каменном троне? Те, кто откажется предложить такое пари, либо никогда сами не были мальчиками, либо забыли свое детство. И я повторяю: почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаще больше двух дней и остаться незамеченными; а поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что, вопреки дидактическому невежеству «Солей», они были подброшены туда, где их нашли, относительно недавно.

Однако существуют еще более веские основания полагать, что их именно подбросили, — куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка,

на втором — шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой «Мари Роже». Именно такое расположение им, естественно, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко не естественно. Было бы уместнее, если бы все они валялись на земле и были бы истоптаны. В тесноте этой полянки юбка и шарф едва ли остались бы лежать на камнях, если там шла какая-то борьба — их обязательно смахнули бы на землю. «Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе», — утверждает газета, однако юбка и шарф были аккуратно разложены, словно на полках. «Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой. Они выглядели так, словно были оторваны». Здесь «Солей» случайно употребила весьма подозрительный глагол. Действительно, судя по описанию, эти лоскутки кажутся оторванными — но сознательно, человеческой рукой. Лишь в чрезвычайно редких случаях колючка «отрывает» лоскут от подобной одежды. Эти ткани по самой своей природе

таковы, что колючка или гвоздь, запутавшиеся в них, рвут их под прямым углом, образуя две перпендикулярные друг к другу прорехи, сходящиеся там, где колючка вонзилась в ткань, но трудно вообразить «оторванный» таким способом лоскуток. Мне этого видеть не приходилось. Да и вам тоже. Для того чтобы оторвать лоскуток такой ткани, необходимо почти в любом случае приложить две отдельные силы, действующие в разных направлениях. Если ткань имеет два края — если, например, вы захотите оторвать полоску от носового платка, — тогда и только тогда достаточно будет приложения одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, имеющем один край. Чтобы колючки вырвали лоскут где-то выше, где нет краев, необходимо чудо, а одна колючка вообще этого сделать не может. Но даже и у нижнего края для этого требуется не меньше двух колючек, причем они должны действовать в двух сильно различающихся направлениях. Но и это относится лишь к неподрубленному краю ткани. Если же он подрублен, то опять-таки ничего подобного произойти не может. Итак, мы видим, сколько существует серьезных, почти непреодолимых препятствий к тому, чтобы лоскуток был «вырван» просто «колючками», а нас просят

поверить, что было вырвано несколько лоскутков! Причем «один оказался куском нижней оборки»! А второй «был вырван из юбки гораздо выше оборки», то есть колючки не оторвали его от края, а вырвали из внутренней части ткани! Да, человека, отказывающегося поверить в это, вполне можно извинить, но, взятые в целом, эти улики все же дают, пожалуй, меньше оснований для подозрения, чем одно-единственное поразительное обстоятельство, а именно — тот факт, что вещи вообще были оставлены среди кустов убийцами, у которых хватило хладнокровия унести труп. Однако вы поймете меня неверно, если предположите, будто моя цель — доказать, что преступление не было совершено в этой чаще. Оно могло произойти там, или же, что вероятнее, какая-то несчастная случайность привела к нему под кровлей мадам Дюлюк, но этот факт имеет второстепенное значение. Мы пытаемся установить, не где было совершено убийство, а кто его совершил. Мои рассуждения, несмотря на их обстоятельность, имели только целью, во-первых, показать всю нелепость решительных и опрометчивых выводов «Солей» и, во-вторых, что гораздо важнее, наиболее естественным путем подвести вас к вопросу о том, было ли убийство

совершено шайкой или нет.

Мы возобновим рассмотрение этого вопроса, кратко коснувшись отвратительных подробностей, сообщенных полицейским врачом на следствии. Достаточно сказать, что его опубликованное заключение, касающееся числа преступников, вызвало заслуженные насмешки всех видных анатомов Парижа, как неверное и абсолютно безосновательное. Конечно, он не предположил ничего невозможного, но никаких реальных оснований для такого предположения у него не было. Однако нельзя ли найти достаточных оснований для какого-нибудь другого предположения?

Займемся теперь «следами отчаянной борьбы». Позвольте мне спросить, свидетельством чего были сочтены эти следы? Свидетельством присутствия шайки. Но разве на самом деле они не свидетельствуют совсем об обратном? Какая борьба могла завязаться — какая борьба, настолько яростная и длительная, что она оставила «следы» повсюду, — между слабой, беззащитной девушкой и предполагаемой шайкой негодяев? Да они просто схватили бы ее, и все было бы кончено в одно мгновение и без всякого шума. У жертвы не хватило бы сил вырваться из их гру-

бых рук, и она оказалась бы в полной их власти. Но помните одно: доводы против того, что местом преступления является именно эта чаща, в подавляющем большинстве справедливы, только если считать, что преступников было несколько. Если же предположить, что насильник был один, то тогда — и только тогда — можно представить себе такую яростную и упорную борьбу, которая оставила бы пресловутые «следы».

И еще одно. Я уже упомянул, насколько подозрительным представляется тот факт, что вещи вообще были оставлены там, где их нашли. Почти невозможно вообразить, что их случайно забыли в чаще. У преступников достало хладнокровия (так по крайней мере считается) унести труп, и тем не менее улики куда более очевидные, чем сам труп (который мог вскоре быть изуродован разложением до неузнаваемости), оставляются на месте преступления — я имею в виду носовой платок с именем и фамилией убитой. Если это произошло случайно, то такая случайность исключает шайку. Она могла произойти, только если преступник был один. Будем рассуждать. Человек совершил убийство. Он стоит один перед трупом своей жертвы. Он испытывает глубокий ужас, глядя на неподвижное тело. Бурная

вспышка страстей угасла, и его сердцем овладевает естественный страх перед содеянным. Его не подбадривает присутствие сообщников. Он здесь один с убитой. Он трепещет и не знает, как поступить. Но труп необходимо как-то скрыть. Он тащит мертвое тело к реке и оставляет в чаще другие свидетельства своей вины, так как унести все сразу было бы очень трудно или даже вообще невозможно, но он полагает, что вернуться за остальным будет легко. Однако, пока он пробирается к реке, его страх удесятеряется. Со всех сторон до него доносятся звуки, свидетельствующие о близости людей. Много раз он слышит — или ему чудится, что он слышит, — шаги непрошеного свидетеля. Даже огни города пугают его. Но вот после долгих, исполненных ужаса остановок он достигает реки и избавляется от своей жуткой ноши — быть может, воспользовавшись для этого лодкой. Но какой страх перед воздаянием может понудить одинокого убийцу вернуться теперь по трудной и опасной тропе в чащу, полную ужасных воспоминаний? Ни за какие сокровища мира он не решится пойти туда еще раз, чем бы это ему ни грозило. Он не мог бы вернуться, даже если бы хотел. Сейчас он думает только об одном: бежать отсюда, бежать как можно скорее. Он навсегда

поворачивается спиной к этим страшным кустам и обращается в паническое бегство.

Ну а если бы там действовала шайка? Их многочисленность придала бы им уверенности — закоренелым негодяям ее вообще не занимать стать. Подобные же шайки составляются именно из закоренелых негодяев. Их многочисленность, повторяю я, избавила бы их от растерянности и слепого ужаса, парализующего рассудок одинокого убийцы, о котором я говорил. Если бы не спохватился первый, второй, даже третий из них, четвертый исправил бы их промах. Они ничего не оставили бы в кустах, потому что легко могли бы унести все сразу. Возвращаться им не было бы нужды.

Теперь вспомните, что из верхней юбки, надетой на трупе, была вырвана от подола к талии «полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом». Сделано это было, несомненно, для того, чтобы облегчить переноску трупа. Но зачем нескольким мужчинам могло понадобиться такое приспособление? Троим-четверым было бы проще и удобнее нести тело за руки и за ноги. Такая «ручка» могла понадобиться только человеку,

которому предстояло перетаскивать тело одному, а это подводит нас к тому обстоятельству, что «в изгородях, находившихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве указывали, что тут волочили что-то тяжелое». Но неужели несколько мужчин стали бы ломать изгородь, чтобы протащить сквозь нее труп, когда им ничего не стоило бы в одно мгновение перекинуть его через любую ограду? Неужели несколько мужчин стали бы волочить тело по земле, оставляя следы-улики?

И тут нам следует обратиться к одному из замечаний «Коммерсьель», о котором я уже говорил. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Я уже указывал, что бродяги, воры и другие темные личности всегда имеют при себе носовой платок. Но теперь меня интересует другое. Платок, брошенный в чаще, неопровержимо доказывает, что не отсутствие носового платка побудило бы преступника воспользоваться этой

повязкой для цели, которую ему приписала «Коммерсьель»; и предназначалась повязка отнюдь не для того, чтобы «помешать ей кричать» — для этого ведь он располагал гораздо более надежным средством. Однако в протоколе осмотра трупа говорится о полосе муслина, «свободно обвернутой вокруг шеи и завязанной неподвижным узлом». Это — довольно неопределенное описание, но оно существенно отличается от того, что мы находим в «Коммерсьель». Полоса шириной в восемнадцать дюймов, пусть даже муслиновая, представляет собой довольно крепкую веревку, если скрутить ее в продольном направлении. А она была скручена именно так. Я делаю из этого следующий вывод: одинокий убийца протащил труп несколько десятков шагов (в чаще у заставы или в другом месте — значения не имеет), держа его на весу за повязку, закрепленную скользящим узлом на талии жертвы, но обнаружил, что такая ноша слишком тяжела для него. Он решил дальше волочить ее — следы на земле свидетельствуют, что труп именно волочили. Для этого необходимо привязать веревку к шее жертвы или к ее ногам. Шея представляется ему более удобной, так как подбородок не даст веревке соскользнуть. Тут убийца, несомненно, подумал

о повязке, уже охватывающей пояс жертвы. Но чтобы воспользоваться ею, надо распутать скользящий узел, размотать ее и оторвать от корсажа. Проще оторвать еще одну такую полосу ткани от нижней юбки. Он отрывает такую полосу, завязывает ее на шее мертвой девушки и волочит свою жертву к реке. Тот факт, что была использована «повязка», которую можно было изготовить только ценой определенных усилий и задержки, причем она довольно плохо отвечала своему назначению, ясно показывает, что прибегнуть к ней пришлось под давлением каких-то обстоятельств в тот момент, когда носового платка рядом уже не было, то есть, как мы уже предположили, когда убийца выбрался из чащи (если все произошло именно там) и находился на полпути между чащей и рекой.

Однако, скажете вы, показания мадам Дюлюк (!) не оставляют никаких сомнений, что в час, когда было совершено убийство, или примерно в этот час неподалеку от чащи бродила какая-то шайка. Да, конечно. Вполне возможно, что в момент трагедии или примерно в то же время неподалеку от заставы Дюруль шлялось даже полдесятка шаек вроде описанной мадам Дюлюк. Но шайка, привлекшая к себе особое внимание

благодаря довольно запоздалым и весьма подозрительным показаниям мадам Дюлюк, — это единственная шайка, которая, по словам этой честной и щепетильной дамы, ела ее пироги и пила ее пиво, не побеспокоившись заплатить за них. Et hinc illae irae?[42]

Но что именно показала мадам Дюлюк? «В трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начинало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке».

Эта «большая спешка» могла представиться мадам Дюлюк особенно большой потому, что она оплакивала судьбу своих пирогов и пива и, возможно, все еще таила слабую надежду получить причитающиеся ей деньги. Иначе почему она с такой настойчивостью указывает на их «большую спешку», хотя уже начинало смеркаться? Неужели следует удивляться, что даже эта буйная компания спешила вернуться домой? Ведь собиралась гроза, приближалась ночь, а им еще

---

[42] Сноски: 42
Не отсюда ли этот гнев? *(лат.)*

предстояло переправиться через широкую реку в маленьких лодках.

Я говорю — «приближалась ночь», так как еще не стемнело. Ведь неприличная торопливость этих «хулиганов» оскорбила трезвый взор мадам Дюлюк, когда только-только начинало смеркаться. Однако нам сообщают, что в тот же самый вечер мадам Дюлюк и ее старший сын «слышали женские крики неподалеку от трактира». Какими же словами мадам Дюлюк обозначила тот час вечера, когда раздались эти крики? Она их услышала «после того, как совсем стемнело». Но «совсем стемнело» означает полную темноту, а «начинало смеркаться» подразумевает дневной свет. Следовательно, шайка покинула окрестности заставы Дюруль до того, как мадам Дюлюк услышала (?) крики. Но, хотя во всех сообщениях о показаниях мадам Дюлюк эти обозначения времени неизменно приводятся именно в тех словах, которые я повторил сейчас в беседе с вами, пока еще ни газеты, ни полицейские агенты не обратили внимания на грубое противоречие, которое в них содержится.

Я приведу еще только один довод против предположения, что в деле замешана шайка, но этот один вывод, на мой взгляд, неопровержим. Раз

за поимку преступников предложена большая награда и обещано полное прощение тому, кто их выдаст, среди членов такой шайки уж непременно нашелся бы предатель. Каждый член шайки, оказавшись в подобном положении, не столько думает о награде или о возможности избежать кары, сколько опасается предательства со стороны своих сообщников. Он торопится донести на них первым, чтобы другой не успел донести на него. И то, что тайна остается нераскрытой, вернее всего свидетельствует о том, что это — действительно тайна. Подробности этого гнусного преступления известны только одному человеку — или в крайнем случае двум людям — и Богу.

Теперь подведем итоги скудных, но, во всяком случае, верных выводов из нашего долгого анализа. Он показал нам, что либо в трактире мадам Дюлюк произошел несчастный случай, либо в чаще у заставы Дюруль было совершено убийство, причем совершил его любовник покойной девушки или, во всяком случае, ее близкий и тайный знакомый. Про него мы знаем, что он — «смуглый» молодой человек. Эта смуглота, пресловутый «скользящий узел», а также «морской узел», которым были завязаны ленты шляпки, указывают на моряка. Его отношения с

покойной — разбитной, но разборчивой девушкой — позволяют сделать вывод, что он не мог быть простым матросом. Это подтверждается и хорошо написанными гневными письмами, адресованными в газеты. Обстоятельства первого бегства, упомянутые «Меркюри», заставляют связать этого моряка с тем «морским офицером», который, как известно, один раз уже увлек несчастную девушку на гибельный путь.

И здесь весьма уместно вспомнить о том, что этот смуглый молодой человек до сих пор никак не заявил о себе. Я немного отвлекусь и замечу, что он смугл до черноты — эта смуглость настолько необычна, что и Валанс, и мадам Дюлюк обратили внимание только на нее и никаких других его примет не указали. Но почему этот молодой человек исчез? Может быть, шайка его убила? Но в этом случае почему сохранились только следы убийства девушки? Естественно предположить, что убить их должны были бы в одном и том же месте. И где его труп? Убийцы скорее всего избавились бы от них обоих одинаковым способом. Но можно предположить, что он жив и не хочет обнаружить себя, опасаясь обвинения в убийстве. Такое соображение имеет определенный вес сейчас, на этом позднем этапе,

поскольку свидетели видели его с Мари, но в то время, когда произошло убийство, оно не имело никакой силы. Ни в чем не повинный человек поспешил бы сообщить о случившемся и помог бы розыску преступника. Такое поведение было бы самым разумным. Его видели в обществе убитой. Он переехал с ней через реку на открытом пароме. Даже идиот понял бы, что обличение убийц было бы наиболее верным и к тому же единственным способом очистить себя от подозрений, а предположить, что вечером в воскресенье он был и неповинен в совершенном преступлении, и ничего о нем не знал, невозможно. Однако только в этом случае он, если он остался жив, мог бы не объявить об убийстве и не обличить убийц.

А какими средствами мы располагаем, чтобы узнать истину? Мы обнаружим, что средства эти умножаются и становятся все более верными по мере того, как мы будем продвигаться в нужном направлении. Давайте до конца выясним все подробности первого побега. Давайте познакомимся со всеми обстоятельствами жизни этого «офицера», узнаем, где он сейчас и где находился в час убийства. Давайте тщательно сравним все письма, присланные в вечернюю газету с целью обвинить в преступлении шайку. Затем сравним

эти письма — их стиль и почерк — с письмами, которые ранее присылались в утреннюю газету и содержали столь настойчивые обвинения по адресу Менэ. После чего сравним все эти письма с какими-нибудь письмами «офицера». Попробуем вновь допросить мадам Дюлюк, ее сыновей и кучера омнибуса, чтобы узнать другие приметы «смуглого молодого человека». Искусно составленные вопросы непременно помогут кому-нибудь из вышеперечисленных свидетелей вспомнить такую примету (или еще что-нибудь), хотя сейчас он даже не отдает себе отчета, что ему что-то известно. И давайте проследим лодку, которая утром в понедельник была найдена плывущей вниз по Сене, а затем еще до обнаружения трупа кем-то забрана без ведома начальника пристани и без руля. Соблюдая необходимые предосторожности и действуя настойчиво, мы, без всяких сомнений, разыщем эту лодку, потому что ее не только может опознать лодочник, доставивший ее к пристани, но еще и потому, что в наших руках находится ее руль. Человек, которому нечего опасаться, не оставит на произвол судьбы руль от парусной лодки. И тут я кстати задам вопрос. О найденной лодке не было дано никакого объявления. Она была отбуксирована

к пристани и на следующее утро уже исчезла. Но каким образом ее владелец или наниматель к утру вторника без помощи объявления уже узнал, куда отогнали лодку, найденную в понедельник? Этого нельзя объяснить, не предположив какой-нибудь связи с соответствующим ведомством, какого-нибудь обмена мелкими новостями на основе общих интересов.

Когда я описывал, как убийца один волок свою жертву к реке, я уже упоминал, что затем он, возможно, воспользовался лодкой. Теперь мы можем считать, что тело Мари Роже действительно было брошено в реку с лодки. Произойти иначе это не могло. Кто рискнул бы оставить труп на мелководье у берега? Странные рубцы на спине и плечах жертвы заставляют вспомнить о шпангоутах на дне лодки. Подтверждается это предположение еще и тем, что труп был брошел в воду без груза. Если бы его бросали в воду с берега, к нему обязательно привязали бы груз. Такой недосмотр убийцы мы можем объяснить, только предположив, что второпях он забыл захватить с собой в лодку что-нибудь подходящее. Когда он выбрасывал тело за борт, то, конечно, обнаружил свой недосмотр, но уже не мог его исправить. Он готов был пойти на любой риск,

лишь бы не возвращаться к этому проклятому берегу. Избавившись от своего жуткого балласта, убийца, без сомнения, поспешил к городу. Там он выпрыгнул на какую-нибудь темную пристань. Но лодка? Привязал ли он ее? Нет, он слишком торопился, чтобы тратить время на привязывание лодки. Кроме того, он почувствовал бы, что, привязывая ее к пристани, тем самым оставляет там страшную улику против себя. Ему, естественно, хотелось избавиться от всего, что было связано с его преступлением. Он не только сам бежал без оглядки от этой пристани, но никак не мог оставить там лодку. Конечно же, он пустил ее плыть по течению. Последуем и дальше за игрой нашего воображения. Утром негодяй с ужасом узнает, что лодку поймали и отвели туда, где он имеет обыкновение бывать чуть ли не ежедневно, туда, где он, возможно, обязан бывать по долгу службы. В эту же ночь, не посмев взять из конторы руль, он забирает лодку. Итак, где теперь находится эта лодка, лишенная руля? Вот что нам надо узнать прежде всего. Первые сведения о ней будут нашим первым шагом к верному успеху. Эта лодка с быстротой, которая удивит даже нас самих, приведет нас к тому, кто плыл на ней в полночь этого рокового воскресенья. Одно подтверждение

последует за другим, и убийца будет обнаружен.

(По причинам, которые мы не будем называть, но которые многие наши читатели поймут без всяких объяснений, мы взяли на себя смелость изъять из врученной нам рукописи подробности того, как были использованы немногочисленные улики, обнаруженные Дюпеном. Мы считаем необходимым лишь вкратце сообщить, что цель была достигнута и что префект добросовестно, хотя и с большой неохотой, выполнил условия своего договора с шевалье. Статья мистера По завершается следующим образом. — *Ред.*[43])

Само собой разумеется, что я говорю тут только о совпадениях и ни о чем другом. Того, что я сказал об этом выше, должно быть достаточно. В моем собственном сердце нет веры в сверхъестественное. Ни один мыслящий человек не станет отрицать двоицы — Природы и ее Бога. Бесспорно и то, что последний, творя первую, может по своей воле управлять ею и изменять ее. Я говорю — «по своей воле», ибо речь здесь идет о воле, а не о власти, как это предполагает безумие логики. Конечно, Всевышний может менять свои законы, но мы оскорбляем его, выдумывая

---

[43] Сноски: 43

Из журнала, в котором впервые была напечатана эта статья. — *Примеч. авт.*

необходимость такого изменения. Эти законы с самого начала были созданы так, чтобы объять любые возможности, какие только таило в себе будущее. Для Бога все — только ТЕПЕРЬ.

И я повторяю, что рассматриваю все, о чем здесь шла речь, только как совпадения. И далее: вдумываясь в мой рассказ, нетрудно усмотреть, что между судьбой злополучной Мэри Сесилии Роджерс — насколько эта судьба известна — и историей некой Мари Роже вплоть до определенного момента существует параллелизм, поразительная точность которого приводит в смущение рассудок. Да, усмотреть это нетрудно. Но не следует полагать, будто я продолжил грустную историю Мари после упомянутого выше момента и проследил весь путь раскрытия тайны ее смерти с задней мыслью, желая намекнуть на дальнейшие совпадения или даже давая понять, что меры, принятые в Париже для обнаружения убийцы хорошенькой гризетки, или меры, опирающиеся на сходный анализ, привели бы и здесь к таким же результатам.

Ведь следует помнить, что при таком ходе рассуждений даже самое крохотное различие в фактах того и другого случая могло бы привести к колоссальному просчету, потому что тут обе цепи

событий начали бы расходиться. Точно так же в арифметике ошибка, сама по себе ничтожнейшая, в ходе вычислений после ряда умножений может дать результат, чрезвычайно далекий от истинного. К тому же не следует забывать, что та самая теория вероятности, на которую я ссылался, налагает запрет на всякую мысль о продолжении такого параллелизма — налагает с решительностью, находящейся в прямой зависимости от длительности и точности уже установленного параллелизма. Это — одна из тех аномалий, которые, хотя и чаруют умы, далекие от математики, тем не менее полностью постижимы только для математиков. Например, обычного читателя почти невозможно убедить, что при игре в кости двукратное выпадение шестерки делает почти невероятным выпадение ее в третий раз и дает все основания поставить против этого любую сумму. Заурядный интеллект не может этого воспринять, он не может усмотреть, каким образом два броска, принадлежащие уже прошлому, могут повлиять на бросок, существующий еще пока только в будущем. Возможность выпадения шестерки кажется точно такой же, как и в любом случае, — то есть зависящей только от того, как именно будет брошена кость. И это представляет-

ся настолько очевидным, что всякое возражение обычно встречается насмешливой улыбкой, а отнюдь не выслушивается с почтительным вниманием. Суть скрытой тут ошибки — грубейшей ошибки — я не могу объяснить в пределах места, предоставленного мне здесь, а людям, искушенным в философии, никакого объяснения и не потребуется. Тут достаточно будет сказать, что она принадлежит к бесконечному ряду ошибок, которые возникают на пути Разума из-за его склонности искать истины в частностях.

1843

Похищенное письмо

Nil sapientiae odiosius acumine nimio[44].

Сенека

[45]

Как-то вечером в Париже, осенью 18.. года, вскоре после наступления темноты я сидел со своим другом С. — Огюстом Дюпеном в его тихой небольшой библиотеке, или, вернее, в хранилище для книг au troisième № 33 Rue Dunôt Faubourg St. Germain[46] и, прислушиваясь к завыванию ветра на дворе, услаждал свою душу размышлениями и пенковой трубкой. Битый час мы хранили молчание, всецело погруженные, как показалось бы случайному наблюдателю, в созерцание причудливых облаков дыма, наполнивших комнату. Что до меня, однако, то мысли мои были заняты некоторыми событиями, о которых мы беседовали ранее в тот вечер, — я имею в

[44] Сноски: 44

Для мудрости нет ничего ненавистнее мудрствования *(лат.)*.

[45] Сноски: 45

© Перевод. Н. Демурова, 2002.

[46] Сноски: 46

В Сен-Жерменском предместье, на улице Дюно, 33, четвертый этаж *(фр.)*.

виду историю на улице Морг и тайну, связанную с убийством Мари Роже. Вот почему я невольно вздрогнул, когда дверь распахнулась и в комнату вошел наш старый знакомый, мосье Г., префект парижской полиции.

Мы встретили его приветливо; хоть многое в нем заслуживало презрения, но человек он был презабавный, — к тому же мы не видели его несколько лет. Мы сумерничали, и Дюпен тут же встал, чтобы зажечь лампу, но снова уселся в свое кресло, когда Г. сказал, что пришел посоветоваться с нами, или, скорее, узнать мнение моего друга об одном служебном происшествии, причинившем ему немало неприятностей.

— Если дело это требует размышления, — заметил Дюпен, задувая спичку, поднесенную было к фитилю, — лучше рассматривать его в темноте.

— Еще одна из ваших странных затей, — заметил префект, имевший обыкновение называть «странным» все, что превышало его разумение, и окруженный, вследствие того, со всех сторон «странностями».

— Совершенно верно, — сказал Дюпен, предложив гостю трубку и пододвинув ему удобное кресло.

— Но что же случилось сейчас? — спросил я. —

Надеюсь, больше никто никого не убивал?

— Нет, нет, это история совсем иного рода. Конечно, дело это *самое простое*, и я не сомневаюсь, что мы вполне с ним справимся и сами. Но я подумал, что Дюпену интересно будет услышать подробности, потому что дело это *странное* до крайности.

– *Простое* и *странное*? — повторил Дюпен.

— Ну да, конечно… или, вернее, нет. По правде говоря, мы все весьма озадачены, ибо дело это *такое простое*, и все же оно ставит нас в тупик.

— Возможно, именно эта простота и сбивает вас с толку, — заметил мой приятель.

— Что за *чепуха!* — воскликнул префект, заливаясь громким смехом.

— Возможно, тайна эта *слишком* прозрачна, — сказал Дюпен.

— Господи помилуй! Нет, вы когда-нибудь слышали такое?

– *Слишком* очевидна…

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ох-хо-хо! — хохотал наш гость, веселясь от души. — Ах, Дюпен, вы меня уморите!

— Но *в чем же* все-таки дело? — спросил я.

— Да я вам расскажу, — отвечал префект с расстановкой, выпуская длинную, ровную струю

дыма и устраиваясь поудобнее в кресле. — Расскажу в нескольких словах, но, прежде чем начать, мне хотелось бы предупредить вас, что дело это требует полнейшей тайны и что я наверняка потеряю свой пост, если станет известно, что я кому-то о нем поведал.

— Продолжайте, — сказал я.

— Или остановитесь, — сказал Дюпен.

— Так вот, мне стало известно (заметьте, сведения эти идут из очень высокого источника, доступного только мне), что из королевских покоев похищен некий документ чрезвычайной важности. Похититель известен — сомнений здесь быть не может: его видели в момент похищения. Известно также, что документ все еще находится в его руках.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это явствует, — ответил префект, — из характера самого документа, равно как и из отсутствия неких результатов, которые бы непременно воспоследовали, если б похититель *выпустил* его из рук, вернее, если б он использовал его в целях, для которых оно было похищено.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Что ж, я рискну заметить, что документ этот дает его обладателю некую власть в некой обла-

сти, в коей власть эта имеет огромную ценность.

Префект любил выражаться дипломатически.

— И все же я не понимаю, — сказал Дюпен.

— Не понимаете? Гм… предъявление этого документа третьему лицу, которого мы оставим безымянным, затронет честь одной особы чрезвычайно высокого рода. Обстоятельство это дает обладателю документа определенную власть над высокочтимой особой, спокойствие и честь которой он подвергает опасности.

— Но эта власть, — вмешался я, — будет зависеть от того, известно ли похитителю, что он известен пострадавшей. Кто же осмелится…

— Вор, — сказал Г., — это министр Д., который осмелится на все, достойное и недостойное мужчины. Способ похищения был столь же хитроумен, сколь смел. Документ, о котором идет речь (откровенно говоря, это письмо), был получен пострадавшей, когда она находилась одна в королевском boudoir. За чтением этого письма ее застало второе высокородное лицо, от которого в особенности ей хотелось его скрыть. Она попыталась сунуть письмо в ящик, но не успела и была вынуждена положить его на стол. Адресом, правда, оно лежало вверх, и, так как текст письма был таким образом скрыт, оно не обратило на

себя внимания. В эту минуту входит министр Д. Его острый взгляд мгновенно замечает письмо, он узнает руку, надписавшую адрес, видит замешательство особы, которой оно адресовано, и угадывает ее тайну. После короткого делового разговора, который, как всегда, он заканчивает очень быстро, он вынимает письмо, весьма похожее на то, о котором идет речь, развертывает, делает вид, что читает его, а затем кладет рядом с первым, потом снова минут пятнадцать беседует о делах государственных. Наконец, уходя, забирает со стола письмо, ему никак не принадлежащее. Законная его владелица все видит, но, конечно, не смеет ничего сказать в присутствии третьего лица, стоящего рядом. А министр удаляется, оставив на столе собственное письмо самого пустого содержания.

— Вот вам условие, — сказал мне Дюпен, — необходимое, как вы говорили, для полноты власти: вор знает, что потерпевшей известно, кто является вором.

— Да, — заметил префект, — вот уже несколько месяцев, как вор злоупотребляет полученной властью в весьма опасных политических целях. Потерпевшая особа с каждым днем все более убеждается в необходимости получить письмо

обратно. Но, конечно, это невозможно сделать открыто. В конце концов, в отчаянии она передала это дело мне.

— Само собой разумеется, — сказал Дюпен, окутываясь клубами дыма. — Более мудрого агента нельзя, я думаю, ни найти, ни желать.

— Вы мне льстите, — отвечал префект. — Впрочем, возможно, что такое мнение и существует.

— Очевидно, письмо, — сказал я, — как вы сами заметили, все еще у министра, ибо обладание письмом, а не его использование, дает министру власть. С использованием письма эта власть пропадет.

— Совершенно верно, — согласился Г., — из этого я и исходил. Прежде всего я позаботился о том, чтобы произвести тщательнейший обыск в особняке, где живет министр. Основная трудность заключалась здесь в том, чтобы провести его без ведома министра. Помимо всего прочего, меня предупредили, что опасность будет особенно велика, если мы дадим ему повод заподозрить нас.

— Но, — сказал я, — вы ведь достаточно au fait[47] в такого рода поисках. Парижская полиция не раз этим занималась.

---

[47] Сноски: 47
Опытны *(фр.).*

— Безусловно, поэтому-то я и не терял надежды. К тому же привычки министра давали мне большое преимущество. Нередко он не возвращается домой до утра. Слуг у него совсем не много. Спят они довольно далеко от комнат своего господина и, так как большинство из них из Неаполя, их нетрудно напоить. Как вы знаете, у меня есть ключи, с помощью которых можно открыть любые двери в Париже. Вот уже три месяца, как я провожу чуть не каждую ночь в особняке Д. и лично руковожу поисками. Тут замешана моя честь, к тому же, сказать вам по правде, награда обещана огромная. Вот почему я не бросал поисков до тех пор, пока не убедился, что вор не уступает мне в хитрости. Готов поручиться, что я заглянул во все углы, во все тайники, где только можно было спрятать этот документ.

— Но разве нельзя предположить, — заметил я, — что письмо, хоть и находится у министра, в чем, по-видимому, сомневаться не приходится, спрятано где-либо в ином месте.

— Вряд ли это возможно, — сказал Дюпен. — Положение дел при дворе сейчас таково, что письмо должно всегда находиться под рукой, чтобы его можно было предъявить в любую минуту. В этом особый смысл тех интриг, в которых, как извест-

но, замешан министр, и это для него не менее важно, чем то, что письмо находится у него.

— Как вы сказали? Чтобы его можно было предъявить? — спросил я.

— Вы хотите сказать, *уничтожить*, — сказал Дюпен.

— Совершенно верно, — заметил я. — Тогда, конечно, письмо у него в доме. Вряд ли министр носит его с собой — об этом и говорить нечего.

— Это совершенно исключено, — сказал префект. — Дважды его останавливали — будто бы грабители — и тщательным образом обыскивали. Я сам при этом присутствовал.

— Вы могли бы этого и не делать, — заметил Дюпен. — Ведь Д., насколько я понимаю, не так уж глуп и, конечно, ждал таких нападений. Это в порядке вещей.

— Не *так* уж глуп? — сказал Г. — Да ведь он поэт, а от поэта до глупца рукой подать.

— Совершенно верно, — заметил Дюпен, задумчиво выпуская из своей трубки клубы дыма, — хоть я и сам когда-то грешил рифмоплетством.

— Может быть, вы расскажете об обыске подробнее? — предложил я.

— Что ж, торопиться нам было некуда, мы обыскали буквально все. Опыт у меня в этих делах

огромный. Я осмотрел весь дом, комнату за комнатой, положив неделю на каждую, — конечно, искали мы только по ночам. Сначала мы изучили мебель в каждой из комнат. Мы заглянули во все ящики, — вы, вероятно, знаете, что для хорошего агента «тайников» не существует. «Тайник» при обыске пропустит только олух. Это же так просто. У каждого шкафа есть определенная вместимость, определенный объем — их следует проверить. К тому же правила у нас разработаны весьма подробно. Тут мы и волоска бы не проглядели. После шкафов и секретеров мы принялись за кресла. Сиденья мы протыкали длинными тонкими иглами — вам приходилось видеть, как я ими действую. Со столов мы снимали верхнюю доску.

— Зачем?

— Подчас, желая что-нибудь спрятать, снимают со стола или иной мебели такого рода верхнюю доску, выдалбливают в ножке углубление, прячут туда предмет, а потом снова кладут верх на место. В тех же целях используют и ножки кроватей или подпорки балдахинов — в верхней их части или нижней.

— А разве нельзя определить пустоту простукиванием? — спросил я.

— Нет, если, спрятав туда предмет, ее заложили ватой. К тому же нам приходилось работать бесшумно.

— Но ведь нельзя же снять все доски, разобрать на части всю мебель, в которой легко сделать такой тайник! Письмо легко скатать в тоненькую трубочку, не толще вязальной спицы, и вставить — ну, хотя бы в перекладину кресла. Вы ведь не разбирали на части все кресла?

— Нет, если, спрятав туда предмет, ее заложили ватой. К тому же мы осмотрели перекладины во всех креслах в особняке, мало того, — все стыки во всей прочей мебели. Будь там хоть малейшие следы недавнего вмешательства, мы бы тотчас заметили. Соринка и та была бы видна, словно большое яблоко. Любая трещинка в клее, любая царапинка в стыках не ускользнули б от нашего взгляда.

— Вы, конечно, осмотрели зеркала между рамами и стеклом, перетрясли постели и постельное белье, а также ковры и шторы?

— Разумеется. Покончив с мебелью, мы принялись за дом. Мы разделили всю его площадь на квадраты и пронумеровали их, чтобы не пропустить ни одного; а потом дюйм за дюймом осмотрели с лупой, как и раньше, весь особняк, а

также два прилегающих к нему дома.

— Два прилегающих дома! — воскликнул я. — Однако пришлось же вам потрудиться!

— Да, но награда предложена баснословная.

— Вы не забыли об *участках* при домах?

— Они вымощены брусчаткой. Хлопот тут было сравнительно немного. Мы изучили мох меж камнями — он был нетронут.

— Вы перебрали, очевидно, бумаги Д. и книги в его библиотеке?

— Безусловно. Мы заглянули во все конверты и папки; книги мы не просто перетрясли, как это делают некоторые полицейские, мы перелистали по листику все тома. Мы измерили с точностью до миллиметра толщину каждого переплета и необычайно придирчиво осмотрели их с лупой. Если бы переплет обнаружил следы недавних изменений, это не избежало бы нашего внимания. Пять-шесть томов, только что принесенных от переплетчика, мы осторожно исследовали длинными иглами в продольном направлении.

— Вы изучили полы под коврами?

— Несомненно. Мы сняли все ковры и осмотрели с лупой половицы.

— Обои на стенах?

— Да.

— Вы заглянули в подвалы?

— Конечно.

— Значит, — сказал я, — вы допустили просчет, и письма, вопреки вашим предположениям, в его комнатах *нет.*

— Боюсь, что вы правы, — сказал префект. — Скажите, Дюпен, что бы вы мне посоветовали?

— Снова тщательно все обыскать.

— В этом нет никакой нужды, — отвечал Г. — Я головой ручаюсь, что письма в особняке нет.

— Больше мне вам посоветовать нечего, — сказал Дюпен. — У вас, разумеется, есть точное описание письма.

— Ну конечно! — Тут префект вынул памятную книжку и прочел подробнейшее описание внутреннего и особливо внешнего вида пропавшего документа. Закончив чтение, он вскоре и удалился в таком подавленном настроении, в каком мне не доводилось еще видеть нашего доброго знакомца.

Месяц спустя он снова нанес нам визит, застав нас все за тем же занятием. Он выбрал трубку и кресло и завел речь о всяких пустяках. Наконец я сказал:

— Послушайте, Г., а как же похищенное письмо? Вы, верно, согласились в конце концов, что

нашего министра не перехитрить?

— Да, черт бы его побрал! Я все же повторил обыск, как предлагал Дюпен, — напрасные старания! Впрочем, я так и думал.

— А какая, вы говорите, предложена награда? — спросил Дюпен.

— О-о, очень большая — очень щедрая награда — мне не хотелось бы называть точную сумму… Скажу лишь одно: я лично готов выдать чек на пятьдесят тысяч франков тому, кто доставит мне это письмо. С каждым днем необходимость найти его становится все настоятельнее. На днях награда была удвоена. Но будь она даже утроена, я все равно не мог бы сделать больше.

— Ну, знаете, — протянул Дюпен, попыхивая трубкой. — По правде… говоря, Г…..вы же не исчерпали… всех возможностей в этом деле. Вы могли бы… по-моему, еще кое-что… сделать, а?

— Но как? Каким образом?

— Что ж… пф-ф-ф! пф-ф-ф!.. вы могли бы… пф-ф-ф! обратиться к кому-либо за советом. Помните историю, которую рассказывают про Абернети?

— Нет, пропади он пропадом!

— Конечно, пусть себе пропадает. Только однажды некий богатый скупец задумал получить от Абернети консультацию даром. Заведя для этой

цели общий разговор в одном частном обществе, он поведал своему врачу о болезни какого-то вымышленного лица. «Предположим, — сказал скупой, — что симптомы у него такие-то. Скажите, доктор, что бы *вы* посоветовали ему предпринять?» — «Предпринять?! — сказал Абернети. — Предпринять?! *Обратиться* к врачу, разумеется!».

— Но, — возразил префект, слегка смутившись, — я именно и хочу просить совета и *готов* за него заплатить. Я *действительно* дам пятьдесят тысяч франков тому, кто поможет мне в этом деле.

— В таком случае, — произнес Дюпен, открывая ящик стола и вынимая оттуда чековую книжку, — вы можете выписать чек на упомянутую сумму мне. Когда он будет подписан, я передам вам письмо.

Я был потрясен. У префекта вид был такой, будто земля вдруг разверзлась у него под ногами. Несколько минут он оставался нем и недвижим, очевидно, не веря собственным ушам, — рот у него был открыт, глаза, казалось, выступили из своих орбит; затем, верно опомнившись, он схватил перо и, то и дело останавливаясь и глядя в пространство, выписал чек на пятьдесят ты-

сяч франков, подписал его и подал через стол Дюпену. Последний внимательно проверил чек и положил в бумажник, после чего отомкнул ecritoire[48], вынул оттуда письмо и передал его префекту. Тот схватил его вне себя от радости, развернул дрожащими руками, торопливо пробежал, рванулся к двери, остановился и, наконец, махнув рукой на все приличия, ринулся вон, так и не произнеся ни звука с той минуты, как Дюпен попросил его выписать чек.

Когда мы остались вдвоем, мой друг снизошел до объяснений.

— Парижские полицейские, — сказал он, — по-своему очень способные люди. Они настойчивы, изобретательны, хитры и знают до тонкости все, что от них требуется по долгу службы. Вот почему, когда Г. описал нам, как он производил обыск в особняке Д., я ни минуты не сомневался в том, что сделано это самым удовлетворительным образом, — насколько это вообще в его силах.

— Насколько это вообще в его силах?

— Да, — сказал Дюпен. — Метод обследования был в своем роде превосходен, да и осуществлялся наилучшим образом. Будь письмо в круге

---

[48] Сноски: 48
Здесь: настольный письменный прибор в футляре *(фр.)*.

их поисков, эти молодцы, безусловно, его бы обнаружили.

Я только рассмеялся, но Дюпен, по-видимому, был совершенно серьезен.

— Да, метод был по-своему хорош, исполнение еще того лучше, — единственный недостаток заключался в том, что он неприменим в данном случае и к данному человеку. У префекта есть ряд чрезвычайно хитроумных приемов, некое подобие прокрустова ложа, в которое он старается втиснуть все свои замыслы. Однако он то и дело попадает впросак — забирая то слишком глубоко, то слишком мелко, так что нередко любой мальчишка проявит больше сообразительности, чем он. Я знал одного такого школьника, который в свои восемь лет вызывал всеобщее восхищение искусством играть в «чет и нечет». Игра эта очень проста, играют в нее камешками. Один игрок зажимает в руке несколько штук, а второй должен угадать, четное там число или нечетное. Если угадает, значит, выиграл камешек, если же нет — проиграл. Мальчик, о котором я говорю, обыгрывал всех в школе. Разумеется, у него был некий принцип, основанный на наблюдении и оценке сообразительности своих противников. Скажем, играет с ним совершенный простофиля,

зажал в кулак камешки и спрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник говорит: «Нечет» и проигрывает, зато во второй раз он выигрывает, ибо тут он размышляет так: «У этого простофили в первый раз был чет, а хитрости у него как раз настолько, чтобы во второй раз взять нечет. Скажу-ка я «нечет». Он говорит «нечет» — и выигрывает. Ну а с простофилей рангом выше он рассуждает так: «Этот голубчик помнит, что в первый раз я сказал «нечет». Значит, во второй раз ему захочется, как и первому, попросту заменить «нечет» на «чет», но тут он решит, что это слишком просто и остановится, как и в первый раз, на «чете». Скажу-ка я «чет». Говорит «чет» — и выигрывает. Так вот, способ мышления у школьника, которого товарищи прозвали «счастливчик», что это в конечном счете такое?

— Всего-навсего, — сказал я, — отождествление своего интеллекта с интеллектом противника.

— Безусловно, — сказал Дюпен. — Когда я спросил своего школьника, каким образом он достигает столь *полного* отождествления, в чем, собственно, и кроется его успех, он сказал мне следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен или глуп, насколько добр или зол мой партнер и что он при этом думает, я стараюсь придать

своему лицу такое же, как у него, выражение, а потом жду, какие у меня при этом появятся мысли и чувства». Принцип моего школьника лежит в основе всей мнимой мудрости, которую приписывают Ларошфуко и Лабрюйеру, Макиавелли и Кампанелле.

— А отождествление своего интеллекта с интеллектом противника, — сказал я, — зависит, если я правильно вас понял, от точности оценки интеллекта противника.

— В практическом смысле — да, — отвечал Дюпен. — Префект и его приспешники ошибаются столь часто потому, что, во-первых, не умеют отождествлять, а во-вторых, плохо понимают или вовсе не понимают интеллект того, с кем имеют дело. Они размышляют лишь о том, что им *самим* кажется хитростью, и в поисках спрятанного берут во внимание лишь те способы, к которым прибегли бы *сами.* Они правы в одном — их собственная хитрость есть точное воспроизведение хитрости и изобретательности большинства, но если хитрость отдельного преступника не совпадает по своему характеру с их хитростью, они попадают в тупик. Это всегда случается, когда она выше их собственной, а часто и тогда, когда она ниже. Принцип у них всегда неизменен;

побуждаемые в лучшем случае необычайной срочностью или неслыханной наградой, они лишь усиливают, доводят до крайности свои обычные практические приемы, однако в принципе ничего в них не меняют. Скажем, в случае с Д. — изменили они хоть на йоту принцип своих действий? Что значат все эти сверления, протыкания, выстукивания, разглядывания с лупой и деления площади на квадратные дюймы, и нумерация этих квадратов, — что все это такое, как не доведение *до крайности* одного-единственного принципа или совокупности принципов расследования, которые опираются на одну-единственную совокупность представлений о человеческой хитрости, к которой после долгих лет службы пришел префект? Разве вы не видите, для него само собой разумеется, что все станут прятать письмо если не в ножке кресла, то по крайней мере в каком-нибудь углу или щели от глаз подальше, следуя тому же ходу мысли, по которому человек прячет письмо в ножке кресла? И разве не видите вы также, что такие recherches[49] потайные места пригодны лишь для заурядных случаев и прибегают к ним лишь люди ума за-

[49] Сноски: 49
Изысканные *(фр.).*

урядного, ибо во всех случаях сокрытия, когда предметом распоряжаются таким recherche способом, способ этот прежде всего напрашивается на ум и таким образом успех поисков зависит не от проницательности, а всего лишь от усердия, терпения и настойчивости, а там, где случай значителен или, что в глазах блюстителя закона то же, где награда велика, все эти свойства никогда не подводили? Теперь вы понимаете, что я имел в виду, говоря, что находись похищенное письмо в сфере поисков префекта, другими словами, совпадай принципы похитившего с принципами префекта, найти его не составило бы большого труда. Этого, однако, не случилось, и префект совершенно растерялся; конечная причина его поражения кроется в том, что он предположил, будто министр — глупец, ибо он приобрел известность как поэт. Все глупцы — поэты, это префект знает *инстинктивно* и, сделав отсюда вывод, что все поэты — глупцы, он совершил обычную ошибку non distributio medii[50].

— Но разве поэт — это министр? — спросил я. — Я знаю, что их два брата, и оба приобрели известность своими сочинениями. Министр,

---

[50] Сноски: 50
Нерасчленение среднего *(лат.)*.

насколько я помню, написал ученый труд о дифференциальном исчислении. Он математик, а не поэт.

— Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю — он и то и другое. Как математик и поэт он должен рассуждать хорошо; будь он только математиком, он не умел бы рассуждать вовсе и находился бы таким образом во власти префекта.

— Вы удивляете меня своими рассуждениями, — сказал я, — которые противоречат общепринятому мнению. Не хотите же вы зачеркнуть прекрасно усвоенную мудрость веков: математический ум всегда считался умом par excellence[51].

— Il y a a parier, — отвечал Дюпен, цитируя Шамфора, — que toute idee publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre[52]. Математики, в этом я с вами согласен, много потрудились, чтобы сделать всеобщим заблуждение, о котором вы говорите и которое тем не менее остается заблуждением, как его ни выдавай за правду. С усердием,

---

[51] Сноски: 51

В истинном значении этого слова *(фр.)*.

[52] Сноски: 52

Можно побиться об заклад, что любое ходячее мнение, любая общепризнанная условность глупы, ибо понравились большинству *(фр.)*.

достойным лучшего применения, они ввели, скажем, термин «анализ» в применении к алгебре. Виновники именно этого превратного толкования — французы, но если термин имеет какое-то значение, если слова получают какой-то смысл от употребления, то «анализ» так же означает «алгебру», как латинское «ambitus»[53] — «амбицию», «religio»[54] — «религию» или «homines honesti»[55] — «порядочных людей».

— Кое-кто из парижских алгебраистов вам этого не простит, — сказал я. — Впрочем, продолжайте.

— Я подвергаю сомнению годность, а следовательно, и ценность того разума, который культивируется в любом специфическом виде, кроме абстрактно логического. Особому сомнению я подвергаю разум, взращенный на математических штудиях. Математика — это наука о форме и количестве, математический ум — это всего лишь логика в приложении к наблюдениям над формой и количеством. Величайшее заблужде-

---

[53] Сноски: 53
Хождение вокруг, обхаживание *(лат.).*

[54] Сноски: 54
Совестливость *(лат.).*

[55] Сноски: 55
Честные люди *(лат.).*

ние состоит в том, что мы предполагаем, будто законы науки, которая зовется *чистой* алгеброй, суть законы абстрактные, или всеобщие. Заблуждение это настолько чудовищно, что я никак не могу понять, каким образом оно стало универсальным. Математические аксиомы не обладают всеобщей истинностью. То, что справедливо для науки об *отношениях* — для формы и количества, зачастую оказывается чудовищным вздором в применении, скажем, к морали. В этой области обычно оказывается, что сумма частей не равняется целому. В химии эта аксиома также неверна. Неверна она и для определения мотива действия, ибо два мотива каждый известной побудительной силы при сложении совсем не обязательно приобретают силу, равную сумме слагаемых. Существует множество других математических истин, которые являются истинами лишь в пределах науки об отношениях. Но математик по привычке исходит из этих *истин, имеющих известный предел,* как если бы они имели всеобщее и безусловное применение, — впрочем, так полагает весь свет. Брайант в своей весьма ученой «Мифологии» упоминает аналогичный источник заблуждений, говоря, что «хотя в языческие мифы никто не верит, все же мы постоянно забываем

об этом и делаем из них выводы, как если бы они реально существовали». Алгебраисты, однако, будучи сами язычниками, *верят* в «языческие басни» и делают отсюда выводы не столько из забывчивости, сколько из необъяснимого умопомрачения. Короче, мне так и не встретился ни один математик, на которого можно было бы положиться за пределами совпадающих корней, ни один, который не верил бы втайне в один догмат: что $x^2 + px$ всегда абсолютно и безусловно равняется q. Попробуйте скажите кому-нибудь из этих господ, что, как вы полагаете, бывают случаи, когда $x^2 + px$ не совсем равняется q. Разъясните ему, что вы имеете в виду, а потом бегите без оглядки, ибо он, безусловно, постарается сбить вас с ног.

В ответ на это я только рассмеялся, а Дюпен продолжал:

— Я хочу сказать, что если б министр был всего лишь математиком, префекту не пришлось бы выписывать мне чек. Однако я знал, что он и математик, и поэт, а потому применил к нему систему измерений, достойную его масштаба, учитывая при этом окружающие его обстоятельства. Знал я также, что он придворный и к

тому же смелый intrigant[56]. Такой человек, размышлял я, конечно, не может не знать обычных методов блюстителей закона. И, конечно, он не мог не предвидеть — события показали, что он действительно их предвидел, — совершенных на него нападений. Разумеется, он предусмотрел, размышлял я, тайные обыски в его комнатах. Частые ночные отлучки, которые так радовали префекта, вселяя в него надежду на успех, я считал всего лишь *уловками,* рассчитанными на то, чтобы дать полицейским возможность устроить тщательный обыск и тем скорее навести их на мысль, к которой Г. в конце концов и пришел, а именно, что письма в особняке нет. Я чувствовал, что вся цепь этих рассуждений, которые я так подробно сейчас вам излагаю и которых в своих поисках неизменно держатся блюстители закона, я чувствовал, что вся цепь этих рассуждений не могла не прийти в голову министру. Это неизбежно должно было привести к тому, что он с презрением отверг все обычные *тайники.* У *него* хватит ума, размышлял я, заметить, что для префекта с его иглами, лупами и буравами самое хитроумное, самое потайное место в его особняке

---

[56] Сноски: 56
Интриган *(фр.).*

будет открыто, словно самый обычный шкаф. Словом, я видел, что ходом событий он вынужден будет искать спасения в *простоте,* даже если не склонится к нему одним уморассуждением. Вероятно, вы помните, как безудержно хохотал префект, когда при первом нашем свидании я предположил, что тайна эта, как ни странно, потому-то, возможно, и доставляет ему столько хлопот, что она так *необычайно* проста и очевидна?

— Как же, — сказал я, — помню, как он развеселился. Я думал, с ним удар случится от смеха.

— Материальный мир, — продолжал Дюпен, — изобилует полнейшими аналогиями миру духовному; вот почему риторическая догма, что сравнение или метафора могут не только украсить описание, но и усилить доказательство, приобретает вид достоверности. Принцип vis inertiae[57], к примеру, видно, одинаков как в физике, так и в метафизике. Если в первой мы справедливо замечаем, что большее тело труднее привести в движение, чем меньшее, и что возникающий при этом momentum[58] соразме-

---

[57] Сноски: 57
Сила инерции *(лат.).*

[58] Сноски: 58
Импульс *(лат.).*

рен этой трудности, то не менее справедливо и то, что в последней интеллекты большей способности или силы, хоть они и более могучи, и постоянней, и значительней в своем движении, чем интеллекты дюжинные, все же сдвинуть труднее, и на первых порах они полны смущения и неуверенности. И вот еще — вы когда-нибудь замечали, какая из уличных вывесок более всего привлекает внимание?

— Никогда об этом не думал, — сказал я.

— Существует игра в загадки, — продолжал Дюпен, — в нее играют над картой. Одна сторона загадывает слово — название города, реки, государства или империи, — в общем, любое слово из тех, что напечатаны на пестрой и разнокалиберной поверхности карты, другая должна его отгадать. Новичок обычно старается сбить противников с толку, задумывая названия, напечатанные самым мелким шрифтом, но игрок опытный выбирает слова, которые крупными литерами тянутся через всю карту. Эти слова, так же как вывески и объявления, написанные слишком крупно, ускользают от нашего внимания именно потому, что они слишком на виду. Физическая слепота здесь в точности соответствует духовной, вследствие которой ум отказывается замечать то,

что слишком явно и очевидно. Но все это, разумеется, выше или ниже понимания префекта. Он ни разу не задумался над тем, что не исключено, а скорее даже — вполне возможно, что министр положил письмо прямо у всех под носом, полагая, что это наилучший способ помешать кое-кому его обнаружить.

Однако, чем больше я размышлял над блистательной, безрассудной, безоглядной изобретательностью Д., над тем, что документ, если он хочет им воспользоваться, должен всегда быть у него *под рукой,* и над результатами обыска, показавшими как нельзя яснее, что в обычной сфере поисков этого достойного чиновника письма не было, тем более я убеждался, что для того, чтобы спрятать письмо, министр прибегнул к простому и остроумному способу — он отказался от всяких попыток его спрятать.

Придя к этому выводу, я обзавелся зелеными очками и в одно прекрасное утро зашел — совершенно случайно, конечно, — в особняк к нашему министру. Я застал Д. дома, он зевал, скучал, слонялся по комнатам и, как всегда, уверял, что умирает от ennui[59]. Я не знаю человека энер-

---

[59] Сноски: 59
Скука *(фр.).*

гичнее, но таким он бывает, только когда никто его не видит.

Не желая ему уступить, я посетовал на слабость зрения и принялся оплакивать необходимость носить очки, под прикрытием которых меж тем я осторожно и внимательно осматривал кабинет, делая вид, что занят исключительно разговором со своим хозяином.

Особое внимание я обратил на огромный письменный стол, возле которого он сидел и на котором в беспорядке лежали всевозможные письма, бумаги, какие-то музыкальные инструменты и несколько книг. Но как я ни смотрел, я не обнаружил здесь ничего особенно подозрительного.

Наконец, в который раз окидывая взглядом комнату, я заметил картонное саше для визитных карточек с дешевой отделкой и грязной голубой лентой, которое небрежно болталось на бронзовой ручке чуть пониже каминной полки. В саше, в котором было три или четыре отделения, лежали пять-шесть карточек и одинокое письмо. Последнее было порядком захватано и измято. Оно было разорвано чуть не пополам, словно поначалу его хотели вовсе разорвать за ненадобностью, а потом передумали и бросили так. На

нем красовалась огромная черная печать с монограммой Д., адрес на нем был написан мелким женским почерком, к тому же и адресовано оно было Д., то есть самому министру. Его небрежно и даже, казалось, презрительно сунули в одно из верхних отделений саше.

Как только я увидел это письмо, я тотчас решил, что его-то я и ищу. Конечно, выглядело оно совсем иначе, чем то, подробное описание которого читал нам префект. На этом письме стояла огромная черная печать с монограммой Д., на том — небольшая красная с гербом герцога С. Адресовано это письмо было Д. мелким женским почерком, там же на конверте стояло имя некой августейшей особы, выведенное смело и размашисто; лишь размером они походили одно на другое. Но *нарочитость* этого контраста, которая была чрезмерной; грязь; захватанный, рваный вид, столь явно противоречащий *истинным* привычкам Д. к методичности и заставляющий предположить некий умысел; желание убедить в полной никчемности этого документа; все это, равно как и то, что лежал он на самом виду, будто для того, чтобы любой посетитель мог его видеть, что полностью отвечало выводам, к которым я пришел ранее, — все это, повторяю, весьма

способно было навести на подозрение того, кто явился сюда, весьма к подозрению склонным.

Я, как мог, затянул свой визит и, не прерывая оживленнейшей беседы с министром на тему, которая, как я знал, всегда его занимала и волновала, сосредоточил все свое внимание на письме. Хорошенько рассмотрев его, я постарался запомнить до мелочей его вид и положение и неожиданно сделал открытие, уничтожившее последние мои сомнения. Разглядывая края письма, я заметил, что они были *смяты* больше, чем, строго говоря, то было необходимо. Так выглядит плотная бумага, если ее сложить, прижав прессом, а потом развернуть и сложить по тем же сгибам в обратную сторону. Этого открытия было достаточно. Мне стало ясно, что письмо вывернули, словно перчатку, наизнанку, написав на нем новый адрес и заново запечатав. Я простился с министром и ушел, оставив на столе золотую табакерку.

На следующее утро я зашел за табакеркой, и мы с увлечением продолжили нашу беседу. В разгар нашего разговора прямо под окнами раздался громкий, словно из пистолета, выстрел, затем громкие крики и вопли перепуганной толпы. Д. кинулся к окну, распахнул его и выглянул нару-

жу. Я же подошел к саше, вынул письмо, положил его в карман, заменив его facsimile[60] (внешнего вида, конечно), которое я заранее приготовил дома, весьма успешно воспроизведя монограмму Д. с помощью печатки из хлебного мякиша.

Волнение на улице вызвал какой-то безумец с мушкетом в руках. Окруженный женщинами и детьми, он вдруг решил из него выпалить. Впрочем, оказалось, что выстрел был холостым, и беднягу отпустили подобру-поздорову, сочтя безумным или пьянчугой. Когда он исчез за углом, Д. отвернулся от окна, где, заполучив необходимый мне предмет, стоял с ним рядом и я. Вскоре я с ним простился. (Мнимый безумец был моим человеком.)

— Но какую цель вы преследовали, — спросил я, — заменив письмо на facsimile? Не лучше ли было открыто схватить его в первый же визит и уйти?

— Д., — ответил Дюпен, — человек отчаянный, его не испугаешь. К тому же было бы ошибкой полагать, что в особняке нет преданных ему людей. Сделай я такую безумную попытку, вряд ли мне удалось бы покинуть общество министра

---

[60] Сноски: 60
Точное воспроизведение документа *(фр.).*

живым. И мои милые парижане больше обо мне и не услышали. Но, помимо этих соображений, была у меня и некая цель. Вам известны мои политические склонности. В этом деле все мои симпатии были на стороне дамы. Полтора года министр держал ее в своей власти. Однако теперь роли переменились, ибо он, не подозревая о том, что письма у него больше нет, будет, конечно, как и прежде, ее шантажировать и тем вернее навлечет на себя полное политическое банкротство. Падение его будет не только молниеносным, но и весьма скандальным. Что бы ни говорили о facilis descensus Averni[61], но во всяком деле подыматься гораздо легче, чем опускаться, как говаривала, бывало, Каталани о пении. В настоящем случае у меня нет ни сочувствия, ни даже жалости — к тому, кто спускается. Он — monstrum horrendum[62], человек одаренный, но беспринципный. Признаюсь, правда, что мне было бы любопытно узнать, что именно он подумает, когда, встретив отпор со стороны той, кого префект величает «некой особой», прочтет наконец письмо, которое я оставил ему в саше.

---

[61] Сноски: 61
Легкости сошествия в преисподнюю *(лат.).*

[62] Сноски: 62
Страшное чудовище *(лат.).*

— Как? Разве вы что-нибудь там написали?

— Как вам сказать… Положить туда чистый лист бумаги мне казалось как-то неловко, — это было бы попросту оскорблением. Когда-то в Вене Д. сыграл со мной злую шутку, и я вполне благодушно сказал ему, что я ее не забуду. И вот, зная, что ему будет небезынтересно узнать, кто же его так провел, я решил, что обидно будет не дать ему хоть какого-то ключа. Он мой почерк хорошо знает — вот я и написал ему на чистом листе:

> *Un dessein si funeste,*
>
> *S'il n'est digne d'Atree, est digne de Thyeste*[63].

Это из «Атрея» Кребийона.

1845

---

[63] Сноски: 63

Такой пагубный план достоин если не Атрея, то Фиеста *(фр.)*.

Золотой жук

Глядите! Хо! Он пляшет, как безумный.
Тарантул укусил его…

Все не правы

[64]

Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с неким Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Салливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш — убежище болотных курочек. Деревьев

---

[64] Сноски: 64

© Перевод. А. Старцев, наследники, 2002.

на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, — можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати — двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многое в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая

попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Сваммердам. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим «масса Виллом». Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Салливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 18… года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства

сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности — не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науке. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке.

— А почему не сегодня? — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

— Если бы я знал, что вы здесь! — воскликнул Легран. — Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли до-

мой, то повстречали лейтенанта Дж. из форта, и я по какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг.

— Что? Восход солнца?

— К черту солнце! Я — о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое книзу. А усики и голову…

— Где же там олово, масса Вилл, послушайте-ка меня, — вмешался Юпитер, — жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи; только вот пятна на спинке. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.

— Допустим, что все это так, и жук из чистого золота, — сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства, — но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск — в этом вы сами сможете завтра же убедиться. Пока что я покажу вам, каков он на вид.

Легран сел за столик, где было перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел.

— Не беда, — промолвил он наконец, — обойдусь этим. — Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться; озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи; я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда пес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде сказать, был немало озадачен рисунком моего друга.

— Что же, — сказал я, наглядевшись на него вдосталь, — это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там походит!.. Форменный череп!

— Череп? — отозвался Легран. — Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за оскал черепа.

— Может быть, что и так, Легран, — сказал я ему, — но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

— Как вам угодно, — отозвался он с некоторой досадой, — но, по-моему, я рисую недурно, по крайней мере я привык так считать. У меня были отличные учителя, и позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

— В таком случае вы дурачите меня, милый друг, — сказал я ему. — Вы нарисовали довольно порядочный *череп*, готов допустить даже, хотя я и полный профан в остеологии, что вы нарисовали *замечательный череп*, и если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его Scarabaeus caput hominis[65] или как-нибудь еще в этом роде; естественная

---

[65] Сноски: 65
Жук; здесь: человеческая голова *(лат.).*

история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики?

— Усики? — повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. — Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.

— Не стоит волноваться, — сказал я, — может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. — И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук как две капли воды *походил на череп.*

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал свой рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее

тоже молчать; как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал; однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее обыкновенного.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарлстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка-негра таким удрученным, и меня охватила тревога: уж не случилось ли чего с моим другом?

— Ну, Юп, — сказал я, — что там у вас? Как поживает твой господин?

— По чести говоря, масса, он нездоров.

— Нездоров? Ты пугаешь меня! На что он жалуется?

— В том-то и штука! Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.

– *Очень* болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?

— Где там лежит! Его и с собаками не догонишь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа! Бедный мой масса Вилл!..

— Юпитер, я хочу все-таки знать, в чем у вас дело. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?

— Вы не серчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?

— Что он делает?

— Считает да цифры пишет, таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет, да пожалел, старый дурак, уж очень он грустный вернулся…

— Как? Что? Отлупить его?.. Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что: как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное

после того, как я приходил к вам?

– *После* того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось. В тот самый день приключилось.

— Что? О чем ты толкуешь?

— Известно, масса, о чем! О жуке!

— О чем?

— О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

— Золотой жук укусил его? Эка напасть!

— Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука, бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил, тут же выронил, вот тогда жук, наверно, и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил — голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги, да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул, вот что я сделал!

— Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и это причина его болезни?

— Ничего я не думаю — точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слыхал про таких

золотых жуков.

— А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.

— Хорошо, Юп, может быть, ты и прав. Ну а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

— О чем это вы толкуете, масса?

— Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?

— Нет, масса. Но он приказал передать вам вот это.

И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

> «Дорогой N!
>
> Почему Вы совсем перестали бывать у нас? Неужели Вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою brusquerie[66]? Нет, это, конечно, не так.
>
> За время, что мы не виделись с Вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать Вам о ней, но не знаю, как браться за это, да и рассказывать ли вообще.

---

[66] Сноски: 66
Резкость *(фр.)*.

Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день solus[67] в горах на материке. Кажется, только нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки.

Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось.

Если у Вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. *Очень* прошу Вас. Мне нужно увидеться с Вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело *великой важности*. Ваш, как всегда,

Вильям Легран».

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так не похож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за «дело великой важности» могло быть *у него*, у

---

[67] Сноски: 67
Один *(лат.).*

Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

— Это что, Юп? — спросил я.

— Коса и еще две лопаты, масса.

— Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

— Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.

— Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

— Зачем — я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым

нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить, я спросил, получил ли он от лейтенанта Дж. своего золотого жука.

— О да! — ответил он, заливаясь ярким румянцем. — На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

— В чем Юпитер был прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

— Жук — *из чистого золота!*

Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен.

— Этот жук принесет мне счастье, — продолжал Легран, торжествующе усмехаясь, — он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойди принеси жука!

— Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений — натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка, и ниже с другой еще одно, подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и блестели действительно как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной. Учитывая все это, можно было не так уж строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

— Я послал за вами, — начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр, — я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука…

— Дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы совсем больны, вам надо лечиться. Ложитесь сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

— Пощупайте мне пульс, — сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было.

— Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего в постель. А затем…

— Вы заблуждаетесь, — прервал он меня. — Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

— А как это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет.

— Я буду счастлив, если смогу быть полезным, — ответил я, — но, скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

— Да!

— Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее.

— Жаль! Очень жаль! Нам придется идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

— Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

— Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было.

— А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (Боже правый!) благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

— Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» — вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, и Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо энергичные меры. Я попытался несколько раз

завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров, и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий, пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заприметил, посещая эти места до того.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножия почти неприступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, не падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.

Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что

без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло, окруженное десятком дубов, и далеко превосходило и эти дубы, и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть, раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы пришли наконец к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен, Юпитер сказал просто:

— Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.

— Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать.

— Высоко залезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну… Эй, погоди. Возьми и жука!

— Жука, масса Вилл? Золотого жука? — закричал негр, отшатываясь в испуге. — Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.

— Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный

рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, но если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это ни грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.

— Совсем ни к чему шуметь, масса, — сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым. — Всегда вы браните старого негра. А я пошутил, и только! Что я, *боюсь* жука??? Подумаешь, жук!

И, осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево, или Liriodendron Tulipiferum, — великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры для упора и раза два счастливо избежав падения,

Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте шестьдесят или семьдесят футов.

— Куда мне лезть дальше, масса Вилл? — спросил он.

— По толстому суку вверх, вон с той стороны, — ответил Легран.

Негр тотчас повиновался, лезть было, должно быть, нетрудно. Он подымался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос как будто издалека:

— Сколько еще лезть?

— Где ты сейчас? — спросил Легран.

— Высоко, высоко! — ответил негр. — Вижу верхушку дерева, а дальше — небо.

— Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал?

— Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей, масса.

— Поднимись еще на одну.

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до

седьмой ветви.

— А теперь, Юп, — закричал Легран, вне себя от волнения, — ты полезешь по этой ветви, пока она будет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни.

Если у меня еще оставались какие-либо сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера:

— По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая.

— Ты говоришь, что она *сухая*, Юпитер? — закричал Легран прерывающимся голосом.

— Да, масса, мертвая, готова для того света.

— Боже мой, что же делать? — воскликнул Легран, как видно в отчаянии.

— Что делать? — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово. — Вернуться домой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали.

— Юпитер! — закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания. — Ты слышишь меня?

— Слышу, масса Вилл, как не слышать!

— Возьми нож. Постругай эту ветвь. Может

быть, она не *очень* гнилая.

— Она, конечно, гнилая, — ответил негр немного спустя, — да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.

— Что это значит? Разве ты и так не один?

— Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.

— Старый плут! — закричал Легран с видимым облегчением. — Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

— Как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра.

— Так вот, послушай! Если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз, и если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу, как только ты спустишься.

— Хорошо, масса Вилл, лезу, — очень быстро ответил Юпитер, — а вот уже и конец.

— Конец ветви? — вскричал Легран. — Ты правду мне говоришь, ты на конце ветви?

— Не совсем на конце, масса… Ой-ой-ой! Господи Боже мой! Что это здесь на дереве?

— Ну? — крикнул Легран, очень довольный. —

Что ты там видишь?

— Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо.

— Ты говоришь — череп?! Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?

— А верно ведь, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая! Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем.

— Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?

— Слышу, масса.

— Слушай меня внимательно! Найди левый глаз у черепа.

— Угу! Да! А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?

— Ох, какой ты болван, Юпитер! Знаешь ты, где у тебя правая рука и где левая?

— Знаю, как же не знать, левой рукой я колю дрова.

— Правильно. Ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз?

Юпитер долго молчал, потом он сказал:

— Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука

у черепа? Но у черепа нет левой руки… Что ж, на нет и суда нет! Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?

— Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз, сколько хватит шнура. Только не урони.

— Пропустил, масса Вилл. Это самое плевое дело — пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, тот упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в девять — двенадцать футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз.

Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо, до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту и отступая назад, отмерил еще пятьдесят футов. Юпитер с косой в руках шел

перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в четыре фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать.

Откровенно скажу, я не питаю склонности к такого рода забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы. Но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на Юге манией кладоискательства и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук — «из чистого золота».

Подобные мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно

если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не видел иного выхода) и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его замысла.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся Легран; я был бы только доволен, если бы смог при содействии постороннего человека вернуть домой моего путешественника. Разбушевавше-

гося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались все теми же. Мой золотоискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь, домой, не произнеся ни слова.

Не успели пройти мы и десятка шагов, как Легран с громким проклятием повернулся к негру и

крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер разинул рот, выпучил глаза и, уронив лопаты, упал на колени.

— Каналья, — с трудом промолвил Легран сквозь сжатые зубы, — проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз?

— Помилуй Бог, масса Вилл, вот у меня левый глаз, вот он! — ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на *правый* глаз и прижимая его изо всей мочи, словно страшась, что его господин вырвет ему этот глаз.

— Так я и думал! Я знал! Ура! — закричал Легран, отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня опять на хозяина.

— За дело! — сказал Легран. — Вернемся! Мы еще выиграем эту игру! — И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

— Ну, Юпитер, — сказал Легран, когда мы снова стояли втроем у подножия дерева, — говори: как был прибит этот череп к ветке, лицом или наружу?

— Наружу, масса, так чтоб вороны могли кле-

вать глаза без хлопот.

— Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука — в тот или этот? — И Легран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера и потом другой.

— В этот самый, масса, в левый, как вы велели! — Юпитер указывал пальцем на *правый* глаз.

— Отлично, начнем все сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, вытащил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три дюйма к западу. Снова связав землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов.

Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты.

Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое действие. Продолжая

усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу на дне ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мной все настойчивее, когда нас опять всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напялить ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через пять-шесть секунд он отрыл два человеческих скелета, а вернее, груду костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой — и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить эту просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку. Лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно, было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириной в три фута и высотой в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и обит заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взяться разом шесть человек. Взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто

ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровища, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был словно поражен громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровища свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь:

— И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бранил его! И не стыдно тебе, старый негр? Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать их обоих — и слугу и господина — к порядку; нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в еже-

вичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, — ведь и человеческая выносливость имеет предел, — мы закусили и дали себе отдых до двух часов; после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся, к нашему счастью, тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов, — ночь уже шла на убыль, — мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса.

Мы изнемогали от тяжкой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища.

Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи,

перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки — французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще какие-то монеты, нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов, и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправ и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплющены молотком, видимо, для того, чтобы

нельзя было опознать драгоценности. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь; восемьдесят три тяжелых больших распятия; пять золотых кадильниц огромной ценности; большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещиц, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов. Я уж не говорю о часах, их было сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы сохранили на память), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда наконец мы завершили осмотр и вла-

девшее нами необычайное волнение чуть-чуть поутихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

— Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите; потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня — я считаюсь недурным рисовальщиком. Потому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

— Клочок бумаги, вы хотите сказать, — заметил я.

— Нет! Я сам так думал вначале, но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где

только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я увидел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука и размером и очертаниями! Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно, отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было *никакого другого рисунка*. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то од-

ной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам, уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало, подобное светлячку, то предчувствие, которое столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил все дальнейшие размышления до того, как останусь один.

Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мною задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту и он и я, одновременно, увидели этот пергамент, мне показалось тогда, что это бумага. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил

остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось.

Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро сунул жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может боясь, что я передумаю; вы ведь знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совсем машинально.

Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне: эти обстоятельства имеют большое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я

установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка, неподалеку от шлюпки пергамент — *не бумага*, заметьте, пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите, где же здесь связь? Я отвечу, что череп — всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа.

Итак, я уже сказал, что была не бумага, пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для ординарных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на *формат* пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно, долго хранить.

— Все это так, — прервал я Леграна, — но вы ведь сами сказали, что, когда рисовали жука на пергаменте, там *не было* черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между

шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован (один только Бог знает кем!) уже после того, как вы нарисовали жука?

— А! Здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за вами следил, пока вы мне не вернули пергамент. Следовательно, *не вы* нарисовали там череп. Однако помимо вас нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода (о, редкий, счастливый случай!), в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел у стола. Ну а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент и вы стали его разглядывать, вбежал Волк, наш ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Левой рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить,

а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам об этом сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте *под влиянием тепла.*

Вы, конечно, слыхали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно тайно писать и на бумаге и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру в «царской водке» и разведите потом в четырехкратном объеме воды, чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте — они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка — я имею в виду очертания его, близкие к краю пергамента, — *выделялся отчетливее.* Значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент над пылающим жаром.

Вскоре очертания черепа проступили более явственно; когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместны. Пираты не занимаются скотоводством; это — прерогатива фермеров.

— Но я же сказал вам, что это была *не коза.*

— Не коза, так козленок, не вижу большой разницы.

— Большой я тоже не вижу, но разница есть, — ответил Легран, — сопоставьте два слова kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. «Подпись», я говорю, потому, что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изображение черепа в проти-

воположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного — текста моего воображаемого документа.

— Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?

— Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук — из чистого золота, сильно подействовала на меня. К тому же эта удивительная цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

— Хорошо, что же дальше?

— Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести; на мой взгляд, это значит, что

клад до сих пор *не найден*. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Но если бы пират отрыл сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где было обозначено местонахождение клада, помешала Кидду найти его и забрать. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?

— Нет, никогда.

— А ведь всякий знает, что Кидд владел несметным богатством. Итак, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кидда.

— Что вы предприняли дальше?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголья. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком — сейчас я вам покажу.

Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки:

53##+305)) 6*; 4826) 4#.) 4#); 806*; 48 + 8//60)) 85;;] 8*; :#*8 + 83(88)5* + ; 46(;88*96*? ; 8)*# (; 485);5* + 2:* # (; 4956*2 (5*=4)8 ‖ 8*; 4069285) ;) 6+8)4# #; 1#9; 4 8081; 8 : 8#1; 48 + 85; 4)485 + 528806* 81(#9; 48; (88; 4(#? 34; 48)4#; 161;: 188;#?;

— Что ж! — сказал я, возвращая Леграну пергамент. — Меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы Голконды я не возьмусь решать подобную головоломку.

— И все же, — сказал Легран, — она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, — шифр; иными словами, они скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показаться совершенно непостижимым.

— И что же, вы сумели найти решение?

— С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь; последующие трудности для меня просто не существуют.

Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра словами kid и Kidd возможна лишь по-английски. Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей скорее всего избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал, что криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача намного была бы проще, если б отдельные слова были выделены просветами. Я начал тогда бы с анализа и сличения более коротких слов, и как только нашел бы слово из одной буквы (например, местоимение *я* или союз *и*), я почел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

Знак	8	встречается	34 раза
»	;	»	27 раз
»	4	»	19 »
»	)	»	16 »
»	#	»	15 »
»	*	»	14 »
»	5	»	12 »
»	6	»	11 »
»	+	»	8 »
»	1	»	7 »
»	0	»	6 »
»	9 и 2	»	5 »
»	?	»	3 »
»	‖	»	2 »
»	. = и]	»	1 раз.

В английской письменной речи самая частая буква — *e*. Далее идут в нисходящем порядке *a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c,f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z*. Буква *e*, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву *e* английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква *e* очень часто удваивается, например в словах meet или fleet, speed или seed, seen, been, agree и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз.

Итак, будем считать, что 8 — это *e*. Самое частое слово в английском — определенный артикль the. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности, и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись,

находим не менее семи раз сочетание из трех знаков; 4 8. Итак, мы имеем право предположить, что знак; — это буква t, а 4 — h; вместе с тем подтверждается, что 8 действительно *e.* Мы сделали важный шаг вперед.

То, что мы расшифровали целое слово, потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний этого рода; 4 8. Идущий сразу за 8 знак; будет, как видно, начальной буквой нового слова. Выписываем, начиная с него, шесть знаков подряд. Только один из них нам незнаком. Обозначим теперь знаки буквами и оставим свободное место для неизвестного знака:

t. eeth

Ни одно слово, начинающееся на t и состоящее из шести букв, не имеет в английском языке окончания th, в этом легко убедиться, подставляя на свободное место все буквы по очереди. Потому мы отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем:

t. ee

Для заполнения свободного места можно снова

взяться за алфавит. Единственным верным прочтением этого слова будет:

tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву — r, она обозначена знаком (, и мы можем теперь прочитать два слова подряд:

the tree

Немного дальше находим уже знакомое нам сочетание; 4 8. Примем его опять за границу нового слова и выпишем целый отрывок, начиная с двух расшифрованных нами слов. Получаем такую запись:

the tree;4 (#? 3 4 the

Заменим уже известные знаки буквами:

the tree thr#? 3h the

А неизвестные знаки точками:

the tree thr...h the

Нет никакого сомнения, что неясное слово —

through (через). Это открытие дает нам еще три буквы — *o, u* и *g,* обозначенные в криптограмме знаками #? и 3.

Внимательно вглядываясь в криптограмму, находим вблизи от ее начала группу знакомых нам знаков:

83(88

которое читается так: egree. Это, конечно, слово degree (градус) без первой буквы. Теперь мы знаем, что буква *d* обозначена знаком +.

Вслед за словом degree, через четыре знака, встречаем такую группу:

; 4 6 (; 8 8*

Заменим, как уже делали раз, известные знаки буквами, а неизвестные точками:

th.rtee.

Сомнения нет, перед нами слово thirteen (тринадцать). К известным нам буквам прибавились *i* и *n,* обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается так:

5 3 # # +

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем:

good

Недостающая буква, конечно, *a*, и, значит, два первых слова будут читаться так:

A good (хороший).

Чтобы теперь не сбиться, расположим знаки в виде такой таблицы.

5	означает	a
+	»	d
8	»	e
3	»	g
4	»	h
6	»	i
*	»	n
#	»	o
(	»	r
;	»	t

Здесь ключ к десяти главным буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и надеюсь, что убедил, что он поддается

разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма — из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде:

«A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out». (Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов.)

— Что же, — сказал я, — загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину: «трактир епископа», «мертвую голову», «чертов стул»?

— Согласен, — сказал Легран, — текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.

— Расставить точки и запятые?

— Да, в этом роде.

— И как же вы сделали это?

— Я исходил из того, что автор намеренно пи-

сал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз:

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — северо-северо-восток — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стреляй из левого глаза мертвой головы — прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

— Запятые и точки расставлены, — сказал я, — но смысла не стало больше.

— И мне так казалось первое время, — сказал Легран. — Сперва я расспрашивал всех, кого ни встречал, нет ли где по соседству с островом Салливановым какого-нибудь строения, известного под названием «трактир епископа». Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, это название «трактир епископа» (bishop's hostel) нужно связать со старинной фа-

милией Бессопов (Bessop), владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось «трактиром епископа», и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес.

Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. «Трактир» оказался нагромождением скал и утесов. Одна скала, стоявшая особняком, выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше.

Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел в ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу

понял, что это и есть «чертов стул» и что я проник в тайну записи на пергаменте.

«Хорошее стекло» могло означать только одно — подзорную трубу; моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо-северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в «трактир епископа».

Опустившись на «чертов стул», я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано — «северо-северо-восток». Следовательно, «двадцать один градус и тринадцать минут» значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее вверх, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего высоко свою крону над окру-

жающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести «прямую», то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через выстрел» (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

— Все это выглядит убедительно, — сказал я, — и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув «трактир епископа»?

— Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с «чертова стула», круглый просвет исчез и, сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листве дерева (как я убедился, несколько раз

вставая и снова садясь) открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в этой скале.

К «трактиру епископа» мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, приметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но назавтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны.

— Значит, — сказал я, — первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера; он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой?

— Разумеется! Разница в «выстреле», иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячной. Но ведь линия через «выстрел» лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище здесь,

наши труды пропали бы даром.

— Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазницу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов — в этом чувствуется некий поэтический замысел.

— Быть может, вы правы, хотя я лично думаю, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» столь малый предмет можно только в единственном случае — если он будет белым. А что тут сравнится с черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, становится все белее…

— Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке?! Что за странное это было чудачество! Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

— Что же, не скрою! Ваши намеки на то, что я не в себе, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией в моем вкусе. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла

мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.

— Теперь все ясно. Ответьте еще на последний вопрос. Откуда взялись эти скелеты в яме?

— Об этом я знаю не больше вашего. Тут допустима, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд — если именно он владелец сокровища, в чем я совершенно уверен, — не мог обойтись без подручных. Когда они, выполнив все, что им было приказано, стояли внизу в яме, Кидд рассудил, наверно, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А может, и целый десяток — кто скажет?

1843

Надувательство как точная наука

Гули, гули, гули,
А тебя надули!

Дразнилка

С сотворения мира было два Иеремии. Один написал иеремиаду о ростовщичестве и звался Иеремия Бентам. Он пользовался особым признанием мистера Джона Нила и был, в узком смысле, великий человек. Имя другого связано с самой важной из точных наук, он был великим человеком в *широком* смысле слова — я бы сказал даже, величайшим.

Понятие «надувательства», — вернее, отвлеченная идея, заключающаяся в глаголе «надувать», — знакомо каждому. Но сам акт, *надувательство* как единичное действие, с трудом поддается определению. Впрочем, некоторой ясности в этом вопросе можно достичь, если дать определение не надувательству как таковому, но человеку как животному, которое надувает. Нападай в свое время на эту мысль Платон, ему не пришлось бы проглатывать оскорбления из-за ощипанной

курицы.

Ему был задан очень остроумный вопрос: «Не будет ли ощипанная курица, безусловно являющаяся «двуногим существом без перьев», согласно его же собственному определению, человеком?» Мне таких каверзных вопросов не зададут. Человек — это животное, которое надувает; и, кроме человека, ни одного животного, которое надувает, не существует. И с этим даже целый курятник ощипанных кур ничего не может сделать.

То, что составляет существо, основу, принцип надувательства, свойственно классу живых тварей, характеризующемуся ношением сюртуков и панталон. Ворона ворует; лиса плутует; хорек хитрит — человек надувает. Надувать — таков его жребий. «Человек рожден, чтобы плакать», — сказал поэт. Но это не так: он рожден, чтобы надувать. Такова цель его жизни — его жизненная задача — его *предназначение.* Поэтому про человека, совершившего надувательство, говорят, что он уже *«отпетый».*

Надувательство, если рассмотреть его в правильном свете, есть понятие сложное, его составными частями являются: мелкий размах, корысть, упорство, выдумка, дерзость, невозмутимость, оригинальность, нахальство и *ухмылка.*

Мелкий размах. — Надувала работает с небольшим размахом. Его операции — операции малого масштаба, розничные, за наличный расчет или за чеки на предъявителя. Соблазнись он на крупную спекуляцию, и он сразу же утратит свои характерные особенности, и это уже будет не надувала, а так называемый «финансист», каковой термин передает все аспекты понятия «надувательства», за исключением его масштаба. Таким образом, надувала может быть рассмотрен как банкир in petto[68], а «финансовая операция» — как надувательство в Бробдингнеге. Они соотносятся одно с другим, как Гомер с «Флакком» — как мастодонт с мышью — как хвост кометы с хвостиком поросенка.

Корысть. — Надувалой руководит корысть. Он не станет надувать просто ради того, чтобы надуть. Он считает это недостойным. У него есть объект деятельности — свой карман. И ваш тоже. И он всегда выбирает наиболее благоприятный момент. Его занимает Номер Первый. А вы — Номер Второй и должны сами о себе позаботиться.

Упорство. — Надувала упорен. Он не отчаивается из-за пустяков. Его не так-то просто привести

---

[68] Сноски: 68
В миниатюре, в уменьшенном виде *(лат.).*

в отчаяние. Даже если все банки лопнут, ему мало дела. Он упорно добивается своей цели, и

> *Ut canis a corio nunquam absterrebitur uncto*[69], –

так и он не выпускает свою добычу.

Выдумка. — Надувала горазд на выдумки. Он обладает большой изобретательностью. Способен на хитрейшие замыслы. Умеет войти в доверие и выйти из любого положения. Если бы он не был Александром, то желал бы быть Диогеном. Не будь он надувалой, он мастерил бы патентованные крысоловки или ловил на удочку форель.

Дерзость. — Надувала дерзок. Он — бесстрашный человек. Он ведет войну на вражеской территории. Нападает и побеждает. Тайные убийцы со своими кинжалами его бы не испугали. Чуть побольше рассудительности, и неплохой надувала получился бы из Дика Терпина; чуть поменьше болтовни — из Даниела О'Коннела, а лишний фунт-другой мозгов — из Карла Двенадцатого.

Невозмутимость. — Надувала невозмутим. Никогда не нервничает. У него вообще нет нервов

---

[69] Сноски: 69
Ты не отгонишь ее, как пса от засаленной шкуры *(лат.).*

и отродясь не было. Не поддается суете. Его никто не выведет из себя — даже если выведет за дверь. Он абсолютно хладнокровен и спокоен — «как светлая улыбка леди Бэри». Он держится свободно, как старая перчатка на руке или как девы древних Байи.

Оригинальность. — Надувала оригинален, иначе ему совесть не позволяет. Мысли у него — собственные. Чужих ему не надо. Устаревшие приемы он презирает. Я уверен, что он вернет вам кошелек, если только убедится, что раздобыл его неоригинальным надувательством.

Нахальство. — Надувала нахален. Он ходит вразвалку. Ставит руки в боки. Держит кулаки в карманах. Хохочет вам в лицо. Наступает вам на мозоли. Он ест ваш обед, пьет ваше вино, занимает у вас деньги, оставляет вас с носом, пинает вашу собачку и целует вашу жену.

Ухмылка. — *Настоящий* надувала венчает все эти свойства ухмылкой. Но никто, кроме него самого, этого не видит. Он скалит зубы, когда закончен день трудов — когда дело сделано, поздно вечером у себя в каморке и исключительно для собственного удовольствия. Он приходит домой. Запирает дверь. Раздевается. Задувает свечу. Ложится в постель. Опускает голову на подушку. И

по завершении всего этого надувала широко скалит зубы. Это — не гипотеза, а нечто само собой разумеющееся. Я рассуждаю a priori[70], ибо надувательство без ухмылки — не надувательство.

Происхождение надувательства относится к эпохе детства человечества. Первым надувалой, я думаю, можно считать Адама. Во всяком случае, эта наука прослеживается в веках вплоть до самой глубокой древности. Однако современные люди довели ее до совершенства, о каком и мечтать не могли наши толстолобые праотцы. И потому, не отвлекаясь для пересказа «преданий старины», удовлетворюсь кратким обзором «примеров наших дней».

Отличным надувательством можно считать такое. Хозяйка дома, вознамерившись купить, скажем, диван, ходит из одного мебельного магазина в другой. Наконец, в десятом рекламируют как раз то, что ей надо. У дверей к ней обращается некий весьма вежливый и речистый индивидуум и с поклоном приглашает войти. Диван, как она и думала, вполне отвечает ее требованиям, а осведомившись о цене, она с удивлением и радостью слышит сумму процентов на двадцать ниже

---

[70] Сноски: 70
Исходя из общих соображений *(лат.)*.

ее ожиданий. Она спешит произвести покупку, просит чек, платит, получает квитанцию, оставляет свой адрес с просьбой доставить диван как можно скорее и удаляется, провожаемая до самого порога любезно кланяющимся приказчиком. Наступает вечер — дивана нет. Проходит следующий день — все то же. Слугу посылают навести справки о причинах задержки. Никакой диван продан не был, и денег никто не получал — кроме надувалы, прикинувшегося для этого случая приказчиком.

У нас в мебельных магазинах обычно никто не сидит, благодаря чему и возникает возможность для подобного жульничества. Люди входят, разглядывают мебель и удаляются, и никто их не видит и не слышит. Захоти мы сделать покупку или осведомиться о цене, тут же висит звонок, и находят, что этого вполне достаточно.

Почтенным надувательством считается такое. В лавку входит хорошо одетый человек и делает покупки на сумму в один доллар; обнаруживает, раздосадованный, что оставил бумажник в кармане другого сюртука, и говорит приказчику так:

— Мой дорогой сэр, Бог с ним со всем. Сделайте мне одолжение, отошлите весь пакет ко мне

домой, хорошо?.. Хотя постойте, кажется, у меня и *там* нет мелочи меньше пятидолларовой банкноты. Ну, да вы можете отослать и четыре доллара сдачи вместе с покупкой.

— Очень хорошо, сэр, — отвечает приказчик, сразу же проникнувшись уважением к возвышенному образу мыслей своего покупателя. «Я знаю молодчиков, — говорит он себе, — которые бы просто положили товар под мышку и пошли вон, посулившись зайти на обратном пути и принести доллар».

И он посылает мальчика с пакетом и сдачей. По дороге ему совершенно случайно встречается давешний господин и восклицает:

— А, это мои покупки, как я вижу! Я думал, они уже давно у меня дома. Ну, ну, беги. Моя жена, миссис Троттер, даст тебе пять долларов — я ей оставил указания на этот счет. А сдачу можешь отдать прямо мне, серебро мне как раз кстати: я должен зайти на почту. Прекрасно! Один, два… это не фальшивый четвертак?…три, четыре — все верно! Скажешь миссис Троттер, что повстречался со мною, да смотри, не замешкайся по дороге.

Мальчишка не мешкает по дороге — и, однако, очень долго не возвращается в лавку, потому что дамы по имени миссис Троттер ему отыскать не

удалось. Впрочем, он утешает себя сознанием, что не такой уж он дурак, чтобы оставить товар без денег, возвращается в лавку с самодовольным видом и чувствует обиду и возмущение, когда хозяин спрашивает его, а где же сдача.

Очень простое надувательство вот какое. К капитану судна, готового отвалить от пристани, является официального вида господин и вручает на редкость умеренный счет портовых пошлин. Радешенек отделаться так дешево, капитан, задуренный тысячей неотложных забот, спешит расплатиться. Минут через пятнадцать ему вручается другой, уже не столь умеренный, счет лицом, которое сразу же со всей очевидностью доказывает, что первый сборщик пошлин — надувала и ранее произведенный сбор — надувательство.

Или еще нечто в этом роде. От пристани с минуты на минуту отвалит пароход. К сходням со всех ног бежит пассажир с чемоданом в руке. Внезапно он останавливается как вкопанный, нагибается и в большом волнении подбирает что-то с земли. Это бумажник. «Кто из джентльменов потерял бумажник?» — кричит он. Никто с уверенностью не может утверждать, что именно он потерял бумажник, однако все взволнованы, когда господин обнаруживает, что находка его —

ценная. Пароход, однако, задерживать нельзя.

— Время не ждет, — говорит капитан.

— Ради всего святого, повремените хоть несколько минут, — просит господин с бумажником. — Настоящий владелец должен объявиться с минуты на минуту.

— Нельзя! — отвечает корабельный вседержитель. — Эй, вы там! Отдать концы!

— Ах, ну что же мне делать? — восклицает нашедший в великом беспокойстве. — Я уезжаю за границу на несколько лет, и мне просто совесть не позволяет оставить у себя такую ценность. Прошу у вас прощения, сэр (здесь он обращается к господину, стоящему на пристани), вы выглядите честным человеком. Не окажете ли вы мне любезность, взяв на себя заботу об этом бумажнике? Я знаю, что могу вам доверять. Надо поместить объявление. Дело в том, что банкноты составляют немалую сумму. Владелец, без сомнения, пожелает отблагодарить вас за хлопоты…

— Меня? Нет, *вас!* Ведь это *вы* нашли бумажник.

— Ну, если вы *настаиваете,* я готов принять маленькое вознаграждение — только, чтобы удовлетворить вашу щепетильность. Позвольте, позвольте, да тут одни только сотенные! Вот неза-

дача! Сотня — это слишком много, без сомнения, пятидесяти было бы вполне достаточно.

— Отдать концы! — командует капитан.

— Но у меня нечем разменять сотню, и все-таки лучше *вам*...

— Отдавай концы!

— Ничего! — кричит господин на берегу, порывшись в собственном бумажнике. — Сейчас все устроим! Вот вам пятьдесят долларов, обеспеченные Североамериканским банком. Бросайте мне бумажник!

Совестливый пассажир с видимой неохотой берет пятьдесят долларов и бросает господину на берегу бумажник, между тем как пароход отчаливает, пыхтя и пуская пары. Примерно через полчаса после его отплытия обнаруживается, что «банкноты на большую сумму» — не более как грубая подделка и вся эта история — первосортное надувательство.

А вот смелое надувательство. Где-то назначен загородный митинг. К месту, где он должен состояться, дорога ведет через мост. Надувала располагается на мосту и вежливо объясняет всем, кто хочет пройти или проехать, что в графстве принят новый закон, по которому взимается пошлина — один цент с пешехода,

два — с лошади или осла, и так далее, и тому подобное. Кое-кто ворчит, но все подчиняются, и надувала возвращается домой, разбогатев на пятьдесят — шестьдесят тяжким трудом заработанных долларов. Обобрать большое количество народу — это работа совсем не из легких.

А вот тонкое надувательство. Друг надувалы владеет долговым обязательством последнего, написанным красными чернилами на обычном бланке и снабженным подписью. Надувала покупает дюжины две таких бланков и ежедневно окунает по одному бланку в суп, а затем заставляет свою собаку прыгать за ним и в конце концов отдает его ей на съедение. Когда наступает срок расплаты по долговому обязательству, надувала и надувалова собака являются в гости к другу, где речь тут же заходит о долге. Друг вынимает расписку из своего ecritoire[71] и готов протянуть ее надувале, как вдруг собака надувалы подпрыгивает и пожирает бумагу без следа. Надувала не только удивлен, но даже раздосадован и возмущен подобным нелепым поведением своей собаки и выражает полную готовность расплатиться по своему обязательству, как только ему

[71] Сноски: 71
Бювар *(фр.).*

его предъявят.

Очень мелкое надувательство такое. Сообщник надувалы оскорбляет на улице даму. Сам надувала бросается ей на помощь и, любовно отколотив своего дружка, почитает своим долгом проводить пострадавшую до дверей ее дома. Прощаясь, низко кланяется, прижав руку к сердцу. Она умоляет своего спасителя войти с ней в дом и быть представленным ее старшему братцу и папаше. Он со вздохом отказывается.

— Неужели же, сэр, — лепечет она, — нет никакого способа мне выразить мою благодарность?

— Почему же, мадам, конечно, есть. Не будете ли вы столь добры, чтобы ссудить меня двумя-тремя шиллингами?

В первом приступе душевного смятения дама решается немедленно упасть в обморок. Но затем, одумавшись, она развязывает кошелек и извлекает требуемую сумму. Это, как я уже сказал, очень мелкое надувательство, поскольку ровно половину приходится отдать джентльмену, взявшему на себя труд нанести оскорбление и быть за это поколоченным.

Небольшое, но вполне научное надувательство вот какое. Надувала подходит к прилавку в пивной и требует пачку табаку. Получив, некоторое

время ее разглядывает и говорит:

— Нет, не нравится мне этот табак. Нате, возьмите обратно, а мне взамен налейте стакан бренди с водой.

Бренди подается и выпивается, и надувала направляется к дверям. Но голос буфетчика останавливает его:

— По-моему, сэр, вы забыли заплатить за стакан бренди с водой.

— Заплатить за бренди? Но разве я не отдал вам взамен табак? Что же вам еще надо?

— Но, сэр, прошу прощения, я не помню, чтобы вы заплатили за табак.

— Что это значит, негодяй? Разве я не вернул вам ваш табак? Разве это не ваш табак вон там лежит? Или вы хотите, чтобы я платил за то, чего не брал?

— Но, сэр, — бормочет буфетчик, совершенно растерявшись, — но, сэр…

— Никаких «но, сэр», — обрывает его надувала в величайшем негодовании. — Знаем мы ваши штучки. — И, ретируясь, хлопает дверью.

Или еще одно очень хитрое надувательство, сама простота которого служит ему рекомендацией. Кто-то действительно теряет кошелек или бумажник и помещает подробное объявление в

одной из многих газет большого города.

Надувала заимствует из этого объявления *факты*, изменив заглавие, общую фразеологию и *адрес*. Оригинал, скажем, длинный и многословный, дан под заголовком: «Утерян бумажник» и содержит просьбу о возвращении сокровища, буде оно найдется, по адресу: Том-стрит, номер 1. А копия лаконична, озаглавлена одним словом: «Потерян» и адрес указан: Дик-стрит, номер 2 или Гарри-стрит, номер 3. Кроме того, копия помещена одновременно в пяти или шести газетах, а во времени отстает со своим появлением от оригинала всего на несколько часов. Случись, что ее прочитает истинный пострадавший, едва ли он заподозрит, что это имеет какое-то отношение к его собственной пропаже. И, разумеется, пять или шесть шансов против одного, что нашедший принесет бумажник по адресу, указанному надувалой, а не в дом настоящего владельца. Надувала уплачивает вознаграждение, получает драгоценность и сматывает удочки.

Другое надувательство совсем в том же роде. Светская дама обронила что-то на улице, скажем, перстень с особо ценным бриллиантом. Тому, кто его найдет и возвратит, она предлагает вознаграждение в сорок — пятьдесят долларов,

прилагая к объявлению подробнейшее описание самого камня и оправы, а также специально оговаривает, что доставившему драгоценность в дом номер такой-то по сякой-то улице вознаграждение будет выплачено на месте, без всяких расспросов. Дня два спустя, в то время, как дама отлучилась из дому, у дверей такого-то номера по сякой-то улице раздается звонок; слуга открывает; посетитель спрашивает хозяйку дома, слышит, что ее нет, и при этом потрясающем известии выражает глубочайшее разочарование. У него очень важное дело и именно к самой хозяйке. Видите ли, ему посчастливилось найти ее бриллиантовый перстень. Но, пожалуй, будет лучше, если он зайдет позже. «Ни в коем случае!» — восклицает слуга. «Ни в коем случае!» — восклицает хозяйкина сестра и хозяйкина невестка, немедленно призванные к месту переговоров. Перстень рассматривают, шумно узнают, выплачивают вознаграждение и посетителя чуть ли не взашей выталкивают на улицу. Возвращается дама и выражает сестре и невестке неодобрение, ибо они заплатили сорок или пятьдесят долларов за facsimile[72] ее

---

[72] Сноски: 72
Копию *(лат.).*

бриллиантового перстня — facsimile, сделанное из настоящей железки и неподдельного стекла.

Но как нет, в сущности, конца надувательствам, так не было бы конца и моему исследованию, вздумай я перечислить хотя бы половину тех разновидностей и вариантов, которые допускает эта наука. И потому я вынужден завершить мое сочинение, для каковой цели лучше всего послужит заключительное описание одного весьма пристойного, хотя и замысловатого надувательства, которое сравнительно недавно произошло у нас в городе, а впоследствии было не без успеха повторено и в некоторых других, не менее злачных местностях Штатов. В город неведомо откуда приезжает пожилой джентльмен. По всему видно, что это человек положительный, аккуратный, уравновешенный и разумный. Одет безупречно, но скромно, просто — белый галстук, просторный жилет, покрой которого продиктован исключительно соображениями удобства; мягкие, широкие штиблеты на толстой подошве и панталоны без штрипок. Словом, с ног до головы зажиточный, респектабельный, трезвый делец par excellence[73] — один из тех суровых и

[73] Сноски: 73
Прежде всего *(фр.)*.

по видимости жестких, а в душе мягких людей, вроде героев современных возвышенных мелодрам, каковые герои, как известно, одной рукой раздают гинеи, а другой, просто из коммерческого принципа, вытрясут из человека все до сотой доли последнего фартинга.

Господин этот с большой разборчивостью принимается за поиски квартиры. Он не любит детей. Привык к тишине. Образ жизни ведет весьма размеренный. И вообще предпочитает снять комнату и поселиться в почтенной семье, отличающейся религиозным направлением ума. При этом за ценой он не постоит, единственное его условие — это что квартирную плату он будет отдавать точно по первым числам каждого месяца (сегодня второе); и он умоляет свою квартирную хозяйку, когда наконец находит таковую себе по вкусу, ни под каким видом не забывать этого его правила и присылать ему счет, а заодно и квитанцию, ровно в десять часов утра *первого* числа каждого месяца и ни при каких обстоятельствах не откладывать на второе.

Устроившись с квартирой, наш господин снимает себе помещение под контору в квартале скорее солидном, чем фешенебельном. Ничего на свете он так не презирает, как пускание пыли

в глаза. «За богатой вывеской, — провозглашает он, — редко бывает по-настоящему солидное дело», — замечание, столь глубоко поразившее воображение его квартирной хозяйки, что она спешит записать его для памяти карандашом в своей толстой семейной Библии, на широких полях Притчей Соломоновых.

Следующий шаг — объявление, наподобие нижеследующего, которое помещается в одной из главных деловых газет города, взимающих по шести пенсов за объявление. (До более дешевых газет он не снисходит: во-первых, они недостаточно солидны, а во-вторых, требуют платы вперед, а наш господин, как в святое Евангелие, верит в то, что ни за какую работу не следует платить до того, как она сделана.)

«Требуется. — Податели сего объявления намерены начать в этом городе широкие деловые операции, в связи с чем им потребуются услуги трех или четырех образованных и высококвалифицированных клерков, которым будет выплачиваться значительное жалованье. Рекомендации и свидетельства представлять только самые лучшие и не столько о деловых качествах, сколько о нравственной безупречности. Более того, поскольку будущие обязанности клерков

связаны с большой ответственностью и поскольку через их руки будут проходить значительные суммы, сочтено желательным, чтобы каждый из нанимаемых клерков вносил залог в размере пятидесяти долларов. В силу этого лиц, не располагающих указанной суммой для внесения залога и не имеющих убедительных свидетельств о строгих нравственных правилах, просят не беспокоиться. Предпочтение будет отдано молодым людям с религиозным направлением ума. Обращаться между десятью и одиннадцатью часами утра и четырьмя и пятью часами дня к господам Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и К° в доме 110 по Сучкью-стрит».

К тридцать первому числу указанного месяца объявление привело в контору господ Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания человек пятнадцать — двадцать молодых людей с религиозным направлением ума. Но наш почтенный делец ни с одним из них не спешит заключить контракт — какой же делец в таких вопросах торопится? — так что каждый молодой человек подвергается весьма тщательному допросу касательно религиозности направления своего ума, прежде чем принимается на службу и получает квитанцию на свои пятьдесят долла-

ров — просто для порядка — от респектабельной фирмы Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания. Утром первого числа следующего месяца хозяйка квартиры не вручает, как обещала, своего счета — упущение, за которое почтенный глава торгового дома, оканчивающегося на *-кью,* без сомнения, сурово выбранил бы ее, когда бы его удалось задержать для этой цели в городе еще на день или два.

Между тем полицейские с ног сбились, бегая по городу, и все, что им удалось, это объявить, что почтенный господин — n. e. i., каковые буквы расшифровываются людьми знающими, как начальные классической латинской фразы: non est inventus[74]. Между тем молодые люди, все как один, стали отличаться несколько менее религиозным направлением ума, а хозяйка квартиры покупает на шиллинг лучшей резинки и тщательно стирает карандашную надпись, которую какой-то дурак сделал в ее толстой семейной Библии, на широких полях Притчей Соломоновых.

1843

---

[74] Сноски: 74
Не найден *(лат.).*

Делец

Система – душа всякого бизнеса.
Старая пословица

[75]

Я — делец. И приверженец системы. Система — это, в сущности, и есть самое главное. Но я от всего сердца презираю глупцов и чудаков, которые разглагольствуют насчет порядка и системы, ровным счетом ничего в них не смысля, строго придерживаются буквы, нарушая самый дух этих понятий. Такие люди совершают самые необычные поступки, но «методически», как они говорят. Это, на мой взгляд, просто парадокс; порядок и система приложимы только к вещам самым обыкновенным и очевидным, а экстравагантным совершенно несвойственны. Какой смысл может быть заключен в выражении «порядок шалопайства» или, например, «системы прихоти»?

Взгляды мои по этому вопросу, возможно, никогда не были бы столь определенны, если бы не

---

[75] Сноски: 75

© Перевод. И. Бернштейн, 2002.

счастливое происшествие, случившееся со мною совсем еще в юном возрасте. Однажды, когда я производил гораздо больше шуму, нежели то диктовалось необходимостью, добрая старуха ирландка, моя нянюшка (которую я не забуду в моем завещании), подняла меня за пятки, покрутила в воздухе, пожелала мне как «визгуну проклятому» провалиться и ударом о спинку кровати промяла мне посредине голову, точно шапку. Этим была решена моя судьба и заложены начатки моего благосостояния. На теменной кости у меня в тот же миг вскочила шишка, и она впоследствии оказалась самой что ни на есть настоящей *шишкой порядка.* Вот откуда у меня страсть к системе и упорядоченности, благодаря которой я стал таким выдающимся дельцом.

Больше всего на свете я ненавижу гениев. Все эти гении — просто ослы, чем больше гений, тем больше осел. Уж такое это правило, из него не бывает исключений. Из гения, например, никогда не получится делец, как из жида не получится благотворитель или из сосновой шишки — мускатный орех. Эти людишки вечно пускаются во всевозможные немыслимые и глупые предприятия, никак не соответствующие правильному порядку вещей, и нипочем не займутся настоя-

щим делом. Так что гения сразу можно отличить по тому, чем он в жизни занимается. Если вам попадется человек, который тщится быть купцом или промышленником, который выбрал для себя табачное или хлопковое дело и тому подобную чертовщину, который хочет стать галантерейщиком, мыловаром или еще кем-нибудь в таком же роде, а то еще строит из себя ни много ни мало как адвоката, или кузнеца, или врача — словом, занимается чем-то необычным — можете не сомневаться: это — гений и, значит, согласно тройному правилу, осел.

Я вот, например, не гений. Я просто делец, бизнесмен. Мой гроссбух и приходо-расходная книга докажут вам это в одну минуту. Замечу без ложной скромности, они у меня всегда в образцовом порядке, поскольку я склонен к аккуратности и пунктуальности. Я вообще так аккуратен и пунктуален, что никакому часовому механизму со мной не сравниться. Более того, дела, которыми занимаюсь я, всегда находятся в согласии с обыденными людскими привычками моих ближних. Хотя за это мне приходится благодарить вовсе не моих весьма недалеких родителей — они-то уж постарались бы сделать из меня отъявленного гения, не вмешайся своевре-

менно мой ангел-хранитель. В биографическом сочинении правда — это все, тем более в автобиографическом. И, однако, кто мне поверит, если я расскажу, — а ведь мне не до шуток, — что пятнадцати лет меня родной отец задумал определить в контору к одному почтенному торговцу скобяными товарами, у которого, как он говорил, было «превосходное дело». Превосходное дело, как бы не так! Итог был тот, что по прошествии двух или трех дней меня отослали назад, в лоно моей тупоумной семьи, с высокой температурой и с резкими болями в теменной кости вокруг моего органа порядка. Я едва не отдал душу Богу, шесть недель провел между жизнью и смертью, врачи потеряли всякую надежду — и так далее. Но хоть я и принял страдания, все же я был благодарен судьбе. Мне повезло — я не стал почтенным торговцем скобяными товарами, за что и возблагодарил помянутое возвышение у меня на темени, ставшее орудием моего спасения, равно как и ту добрую женщину, которая в свое время меня им наградила.

Обычные мальчишки убегают из дому в возрасте десяти — двенадцати лет. Я лично подождал, пока мне исполнится шестнадцать. Я, может быть, и тогда бы не сбежал, если бы не

подслушал ненароком, как моя старушка мать вела разговор о том, что, мол, надобно меня пристроить по бакалейной части. «По бакалейной части» — подумать только! Я сразу же принял решение убраться подальше и приняться, по возможности, за какое-нибудь действительно приличное дело, чтобы не зависеть впредь от прихотей этих двух старых фантазеров, норовящих, того и гляди, не мытьем, так катаньем сделать из меня гения. Намерение мое с первой же попытки увенчалось успехом, и к тому времени, когда мне сравнялось восемнадцать лет, у меня уже было большое и доходное дело по линии *портновской ходячей рекламы.*

И удостоился я этой почетной должности исключительно благодаря приверженности к системе, являющейся моей характерной чертою. Аккуратность и методичность неизменно отличали мою работу, равно как и мою отчетность. По своему опыту могу сказать, что не деньги, а система делает человека — за исключением той части его индивидуальности, которая изготовляется портным, — моим нанимателем. Ровно в девять часов каждое утро я являлся к нему за очередным одеянием. В десять часов я уже был на каком-нибудь модном променаде или в другом

месте общественного увеселения. Точность и размеренность, с какой я поворачивал мою видную фигуру, выставляя напоказ одну за другой все детали облачавшего ее костюма, были предметом неизменного восхищения всех специалистов. Полдень еще не наступал, как я уже приводил в дом моих нанимателей, господ Крой, Шил и К°, нового заказчика. Говорю это с гордостью, но и со слезами на глазах, ибо их фирма выказала низкую неблагодарность. Представленный мною небольшой счетец, из-за которого мы рассорились и в конце концов расстались, ни один джентльмен, понимающий тонкости нашего дела, не назовет дутым. Впрочем, об этом, смею с гордостью и удовлетворением заметить, читателю дается возможность судить самому.

Причитается от господ Крой, Шил и К°, портных, мистеру Питеру Профиту, ходячей рекламе *Долл.*

Июля 10	За прохаживание, как обычно, и привод одного заказчика	00,25
Июля 11	То же	25
Июля 12	За одну ложь второго сорта: всучил покупателю побуревший черный материал как якобы темно-зеленый	25
Июля 13	За одну ложь первого сорта экстра: выдал бумажный плис за драп-велюр	75
Июля 20	За покупку совершенно нового бумажного воротничка, чтобы лучше оттенить темно-серый сюртук	2
Августа 15	За ношение короткого фрака с двойными прокладками на груди (температура — 76° в тени)	25
Августа 16	За стояние в течение трех часов на одной ноге для демонстрации нового фасона штрипок к панталонам — из расчета по $12^1/_2$ центов за одну ногу	$37^1/_2$
Августа 17	За прохаживание, как обычно, и привод крупного заказчика (толстый мужчина)	50
Августа 18	То же, то же (средней упитанности)	25
Августа 19	То же, то же (тщедушный и неприбыльный)	6

Итого: 2 долл. $96^1/_2$ цента

Пункт, по которому разгорелись особенно жаркие споры, касался весьма умеренной суммы в два цента за бумажный воротничок. Но, клянусь честью, этот воротничок вполне стоил двух центов. В жизни я не видывал воротничка изящнее и чище. И у меня есть основания утверждать, что он помог реализации трех темно-серых сюртуков. Но старший партнер фирмы не соглашался положить за него больше одного цента и вздумал даже показывать мне, как из двойного листа бумаги можно изготовить целых четыре таких воротничка. Едва ли стоит говорить, что я от своих *принципов* не отступился. Дело есть дело, и подходить к нему следует только по-деловому. Какой же это *порядок* — обсчитывать меня на целый цент? Чистое надувательство из пятидесяти процентов, вот как я это называю. Можно ли его принять за *систему?* Я немедленно покинул службу у господ Крой, Шил и К° и завел собственное дело по *бельмовой* части — одно из самых прибыльных, благородных и независимых среди обычных человеческих занятий.

И здесь моя неподкупная честность, бережливость и строгие правила бизнесмена снова пришлись как нельзя более кстати. Предприятие процветало, и вскоре я уже был видной фигурой

в своем деле. Ибо я не разменивался на всякие новомодные пустяки, не старался пускать пыль в глаза, а твердо придерживался добрых честных старых приемов этой почтенной профессии — профессии, которой, без сомнения, держался бы и по сей день, если бы не досадная случайность, происшедшая однажды со мною, когда я совершал кое-какие обычные операции. Известно, что когда какой-нибудь старый толстосум, или богатый наследник-вертопрах, или акционерное общество, которому на роду написано вылететь в трубу, — словом, когда кто-нибудь затевает возвести себе хоромы, ничего нет лучше, как воспрепятствовать такой затее, всякий дурак это знает. Приведенное соображение и лежит в основе бельмового бизнеса. Как только дело у наших предполагаемых строителей примет достаточно серьезный оборот, вы тихонько покупаете клочок земли на краю облюбованного ими участка, или же бок о бок с ним, или прямо напротив. Затем ждете, пока хоромы не будут уже наполовину возведены, а тогда нанимаете архитектора с тонким вкусом, и он строит вам у них под самым носом живописную мазанку, или азиатско-голландскую пагоду, или свинарник, или еще какое-нибудь замысловатое сооружение в эскимосском, кика-

пусском или готтентотском стиле. Ну и понятно, нам не по средствам снести его за премию всего из пятисот процентов от наших первоначальных затрат на участок и на штукатурку. *По средствам вам* это, я спрашиваю? Пусть мне ответят другие дельцы. Сама мысль эта абсурдна. И тем не менее одно наглое акционерное общество сделало мне именно такое предложение — *именно такое!* Разумеется, я на эту глупость ничего не ответил и в ту же ночь вынужден был пойти и измазать сажей их строящиеся хоромы, я чувствовал, что это мой долг. Безмозглые же злодеи упекли меня в тюрьму; и, когда я оттуда вышел, собратья по бельмовой профессии поневоле должны были прекратить со мной знакомство.

Профессия *рукоприкладства,* которой мне пришлось заняться после того, чтобы заработать себе хлеб насущный, не вполне соответствовала моей нежной конституции, — и, однако же, я приступил к делу с открытой душой и убедился, что моя сила, как и прежде, в тех твердых навыках методичности и аккуратности, которые вбила в меня эта замечательная женщина, моя старая нянька, — право, я был бы низким подлецом, если бы не помянул ее в моем завещании. Так вот, соблюдая в делах строжайшую систему

и аккуратно ведя приходо-расходные книги, я сумел преодолеть немало серьезных трудностей и в конце концов добиться вполне приличного положения в своей профессии. Думаю, что мало кто делал дела удачнее, чем я. Приведу здесь страницу или две из моего журнала — это избавит меня от необходимости трубить о самом себе, что, по-моему, недостойно человека с возвышенной душой. Другое дело журнал, он не даст солгать.

«1 янв. Новый год. Встретил на улице Скока, навеселе. Нотабене: подойдет. Чуть позднее встретил Груба, пьяного в стельку. Нотабене: тоже годится. Внес обоих джентльменов в мой гроссбух и завел на каждого открытый счет.

2 янв. Видел Скока на бирже, подошел к нему и наступил на ногу. Он размахнулся и кулаком сбил меня с ног. Отлично! Встал на ноги. Затруднения с моим поверенным Толстосуммом. Я хотел за ущерб тысячу, а он говорит, что за одну такую несерьезную затрещину больше пятисот нам с них не содрать. Нотабене: расстаться с Толстосуммом, у него нет совершенно никакой системы.

3 янв. Был в театре, искал Груба. Он сидел сбоку в ложе во втором ряду между толстой дамой и тощей дамой. Разглядывал их в театральный бинокль, пока толстая дама не покраснела и

зашептала что-то на ухо Г. Тогда зашел в ложу и сунул нос прямо ему под руку. Ничего не вышло — не дернул. Высморкался, попробовал еще раз — бесполезно. Тогда уселся и подмигнул тощей, после чего, к моему величайшему удовлетворению, был поднят за шиворот и вышвырнут в партер. Вывих шеи и первоклассный перелом ноги. Торжествуя, вернулся домой и записал на него пять тысяч. Толстосумм говорит, что выгорит.

15 *февр.* Пошел на компромисс в деле мистера Скока. Сумма в пятьдесят центов заприходована — о чем см.

16 февр. Сбит с ног этим хулиганом Грубом, каковой сделал мне подарок в пять долларов. (Судебные издержки — четыре доллара двадцать пять центов. Чистый доход — см. приходо-расходную книгу — семьдесят пять центов)».

Итого, за самый короткий срок чистой прибыли не менее одного доллара двадцати пяти центов — и это только от Скока и Груба. Притом, заверяю читателя, что вышеприведенные выписки из моего журнала взяты наудачу.

Одна старая — и мудрая — пословица говорит, что здоровье дороже денег. Эта профессия оказалась несколько слишком тяжелой для моего слабого организма, и потому, обнаружив в один

прекрасный день, что я измордован до полной неузнаваемости, так что знакомые, встречаясь со мною на улице, даже не догадывались, что проходят мимо Питера Профита, я подумал, что лучшее средство от этого — сменить профессию. По каковой причине я обратил мои взоры *к пачкотне* и занимался ею несколько лет.

Хуже всего в этом деле то, что слишком многие им увлекаются, и поэтому конкуренция слишком уж высока. Всякий дурак, у которого не хватает мозгов для того, чтобы преуспеть в качестве ходячей рекламы, или в бельмовом бизнесе, или в рукоприкладстве, конечно, считает, что пачкотня как раз по нему. Но думать, будто для пачкотни не требуется мозгов, величайшее заблуждение. Наоборот. И в особенности тут необходима *система — без* нее как без рук. Я вел всего только розничное дело, но благодаря моей старой привычке *к порядку* неплохо в нем преуспел. Прежде всего я с большим тщанием подошел к выбору подходящего перекрестка и за все время ни разу не поднял метлу ни в каком другом месте. Позаботился я также и о том, чтобы под рукой у меня всегда была отличная, удобная лужа. Этим способом я приобрел твердую репутацию человека, на которого можно положиться, а это, поверьте

мне, для всякого дельца добрая половина успеха. Не было случая, чтобы кто-нибудь, кто швырнул мне монетку, не перешел на моем перекрестке улицу в чистых панталонах. И поскольку мои положительные деловые привычки были каждому известны, никто не пытался поживиться за мой счет. Попробовал бы только! Я сам не из тех, кто занимается вымогательством, но уж и меня тоже не тронь. Конечно, против банков, этих обдирал, я был бессилен. Я от них копейки не видел, отчего и терпел большие лишения. Но ведь это не люди, а корпорации, а у корпораций, как известно, нет ни тела, которое можно поколотить, ни души, которую можно предать вечному проклятию.

Я с успехом вел свое прибыльное дело, пока в один злосчастный день не принужден был к слиянию с *сапого-собако-марательством,* каковое занятие в некотором роде подобно моему, однако далеко не столь почтенно. Правда, местоположение у меня было отличное, в самом центре, а щетки и вакса — высшего качества. И песик мой отличался упитанностью и был большой специалист по разного рода обнюхиваниям. У него уже имелся изрядный стаж, и дело свое он понимал, могу сказать, превосходно. Работали мы обычно так. Помпейчик, вывалявшись хорошенько в

грязи, сидит, бывало, паинькой на пороге соседней лавки, пока не появится какой-нибудь франт в начищенных сапогах. Тогда он устремляется ему навстречу и трется о блестящие голенища. Франт отчаянно ругается и начинает озираться в поисках чистильщика.

А тут как раз я, сижу на самом виду, и в руках у меня вакса и щетки. Работы не больше чем на минуту, и шесть пенсов в кармане. На первых порах этого вполне хватало — я ведь не жадный. Зато пес мой оказался жадным. Я выделил ему третью долю доходов, а он счел уместным потребовать половину. На это я пойти не мог — мы поссорились и расстались.

Потом я какое-то время *крутил шарманку*, и могу сказать, дело у меня шло совсем недурно. Работа эта простая, немудреная, особых талантов не требует. За безделицу покупаете музыкальный ящик, и, чтобы привести его в порядок, открываете крышку, и раза три ударяете по его нутру молотком. От этого звук несравненно улучшается, что для дела особенно важно. После этого остается взвалить шарманку на плечо и идти куда глаза глядят, покуда не попадется вам дверь с обтянутым замшей висячим молотком, а перед нею насыпанная на мостовой солома. Под этой

дверью надо остановиться и завести шарманку, всем своим видом показывая, что намерен так стоять и крутить хоть до второго пришествия. Рано или поздно над вами распахивается окно и вам бросают шестипенсовик, сопровождая подношение просьбой «заткнуться и проваливать». Мне известно, что некоторые шарманщики и в самом деле считают возможным «проваливать» за названную сумму, но я лично полагал, что вложенный капитал слишком велик и не позволяет «проваливать» меньше чем за шиллинг.

Это занятие приносило мне немалый доход, но как-то не давало полного удовлетворения, так что в конце концов я его бросил. Ведь я все же был поставлен в невыгодные условия, у меня не было обезьянки, — и потом, улицы в Америке так грязны, а демократический сброд до того бесцеремонен и толпы злых мальчишек слишком уж надоедливы.

Несколько месяцев я был без работы, но потом сумел устроиться при *лжепочте,* ибо испытывал к этому делу пылкий интерес. Занятие это весьма простое и притом не вовсе бездоходное. К примеру, рано утром я подготавливал пачку лжеписем — на листке бумаги писал что-нибудь на любую тему, что ни придет в голову, лишь бы

позагадочнее, и ставил какую-нибудь подпись, скажем, Том Добсон или Бобби Томпкинс. Потом складывал листки, запечатывал сургучом, лепил поддельные марки с поддельными штемпелями якобы из Нового Орлеана, Бенгалии, Ботани-Бея и прочих удаленных мест и спешил вон из дому. Мой ежеутренний путь вел меня от дома к дому, которые посолиднее. Я стучался, вручал письма и взимал суммы, причитающиеся по наложенному платежу. Платили не раздумывая. Люди всегда с готовностью платят за письма — такие дураки, — и я без труда успевал скрыться за углом, прежде чем они прочитывали мое послание. Единственное, что плохо в этой профессии, это что нужно очень много и очень быстро ходить и беспрестанно менять маршруты. И, кроме того, я испытывал укоры совести. Признаться, я терпеть не могу, когда ругают ни в чем не повинного человека, а весь город так честил Тома Добсона и Бобби Томпкинса, что просто слушать было больно. И я в отвращении умыл от этого дела руки.

Восьмым и последним моим занятием было *кошководство.* Я нашел его в высшей степени приятным, доходным и совершенно необременительным. Страна наша, как известно, наводнена кошками. Бедствие это достигло в последнее

время таких размеров, что на последней сессии Законодательного совета была внесена петиция о помощи, под которой стояло множество подписей, в том числе людей самых уважаемых. Совет выказал рассудительность необыкновенную и, приняв на той памятной сессии целый ряд здравых и мудрых постановлений, увенчал их Актом о кошках. Новый закон в своей первоначальной редакции предлагал премию (по четыре пенса) за кошачью голову, но сенату удалось протащить поправку к основному параграфу, с тем чтобы заменить слово «голову» на слово «хвост». Поправка эта была столь неоспоримо уместна, что сенат проголосовал за нее nem. con.[76].

[76] Сноски: 76
Nemine contradicente — единогласно *(лат.)*.

Лишь только новый закон был подписан губернатором, как я тут же вложил всю мою движимость в приобретение кисок. Вначале я ввиду ограниченности средств кормил их одними мышами, поскольку они дешевы, но мои питомцы с такой невероятной быстротой выполняли библейский завет, что я вскоре счел возможным быть с ними пощедрее и баловал их устрицами и черепаховым супом. Их хвосты по сенатской ставке приносят мне отличный доход, ибо я открыл способ с помощью макассарского масла снимать по три урожая в год. К тому же я с радостью обнаружил, что славные животные скоро привыкают к этой процедуре и сами предпочитают, чтобы хвосты им отрубали. Словом, теперь я состоятельный человек и сейчас занят тем, что торгую себе поместье на берегу Гудзона.

1840

Бес противоречия

[77]

Рассматривая способности и импульсы, то есть prima mobilia[78] человеческой души, френологи в своей системе не отвели места склонности, которая, хотя она, несомненно, существует в виде коренного, первозданного и неукротимого чувства, тем не менее не была замечена ни одним из моралистов, им предшествовавших. Высокомерие чистого разума не позволило никому из нас распознать ее, и мы допускаем, что наши чувства пребывали в неведении о ней потому лишь, что нам недостает веры, будь то вера в Откровение или вера в Каббалу. Наше представление не включает ничего подобного просто за ненадобностью. Мы не видим никакой нужды в таком импульсе, в таком свойстве. Мы не осознаем его необходимости. Мы не понимаем… вернее, мы не могли бы понять, если бы вдруг нам открылась возможность такого primum mobile, — мы

---

[77] Сноски: 77

© Перевод. И. Гурова, наследники, 2011.

[78] Сноски: 78

Основные движущие силы (*лат.*).

не могли бы понять, каким образом он способствует достижению целей человечества, как преходящих, так и вечных. Нельзя отрицать, что френология и в значительной мере все метафизические доктрины были состряпаны a priori[79]. Не чуткий и наблюдательный, но рассудочный и логичный человек принялся придумывать предначертания и приписывать Богу те или иные цели. Измерив таким образом к вящему своему удовольствию умыслы Иеговы, он из этих умыслов настроил множество умозрительных систем. Во френологии, например, мы сперва с полным на то основанием усматриваем божественное предначертание в том, что человек ест. Затем мы наделяем человека органом потребности в пище, и этот орган превращается в бич, с помощью которого Бог понуждает человека есть, хочет он того или нет. Во-вторых, установив для себя, что Бог повелевает человеку продолжать свой род, мы незамедлительно открываем орган наклонности к любви. И точно то же можно сказать о воинственности, о поэтичности, о логичности, о созидательности — короче говоря, о любом органе, представляющем склонность, нравствен-

[79] Сноски: 79
До и вне всякого опыта (*лат.*).

ное чувство или свойство чистого разума. И в этом распределении principia[80] человеческих действий ученики Шпурцгейма, правы они или не правы, частично или в целом, — они, говорю я, в принципе лишь следовали по стопам своих предшественников, выводя и устанавливая все лишь из заранее предопределенной судьбы человека и на основании намерений его Творца.

Было бы мудрее, было бы благоразумнее создавать классификацию (если уж мы должны создавать классификации), опираясь на то, что человек делает обычно или изредка, — на то, что он всегда изредка делает, — а не на то, что, согласно нашему предвзятому мнению, ему назначил делать Бог. Если мы не в состоянии постичь Бога в его видимых творениях, то неужели же он постижим для нас в своих неисповедимых промыслах, которые воплощаются в этих творениях? Если мы не понимаем его в созданиях, имеющих внешнее бытие, то как же можем мы понять внутреннее движение его воли и фазы созидания?

Индукция a posteriori[81] вынудила бы френологию признать врожденным и первозданным

---

[80] Сноски: 80
Принципы (*лат.*).

[81] Сноски: 81
На основании опыта (*лат.*).

принципом человеческих поступков то парадоксальное нечто, которое за неимением лучшего определения мы назовем «склонностью к противоречию». В том смысле, который я имею в виду, это — mobile без мотива, немотивированный мотив. Побуждаемые этой склонностью, мы действуем без какой-либо понятной цели; или же, если тут будет усмотрена логическая неувязка, можно несколько изменить формулу и сказать, что, побуждаемые этой склонностью, мы совершаем поступки именно потому, что *не должны* их совершать. В теории, казалось бы, нет побудительной причины более беспричинной, но на самом деле могущество ее невероятно. Определенные натуры при определенных обстоятельствах вообще не способны ей противостоять. Сознание непозволительности или ошибочности какого-то поступка очень часто превращается в неодолимую *силу*, и она, одна она понуждает нас его совершить — в этом я убежден так же, как в том, что я дышу. И это всепобеждающее стремление поступать не так, как надо, только ради самого поступка, не поддается никакому анализу, никакому разложению на составные элементы. Это коренной, первозданный импульс — элементарный и первичный. Я знаю,

можно возразить, что наше поведение, когда мы настаиваем на определенных действиях, хотя никак не должны их совершать, представляет собой лишь видоизменение обычных проявлений «воинственности», о которой говорят френологи. Но ошибочность этой идеи обнаруживается с первого взгляда. Суть френологической «воинственности» — это потребность в самозащите. Это наша оборона от всего, что может нанести нам ущерб. Ее принцип — забота о нашем благополучии, и потому развитие этого свойства совпадает с возникновением стремления к благополучию. Отсюда следует, что желание пребывать в благополучии должно возникать одновременно с любым принципом, который представляет собой лишь видоизменение воинственности, однако склонность *к противоречию*, как я ее называю, не только не сопровождается желанием пребывать в благополучии, но и связана с прямо противоположным чувством.

Обращение к собственному сердцу — вот в конце концов наилучший ответ на вышеуказанный софизм. Тот, кто доверчиво советуется с собственной душой и подробно и придирчиво ее изучает, вряд ли будет склонен отрицать глубокую врожденность указанной склонности. Ее

непостижимость равна ее несомненности. На земле не найдется человека, который хотя бы раз в жизни не испытывал, например, мучительного желания подразнить собеседника излишней обстоятельностью. Говорящий понимает, что он раздражает собеседника, его же цель — быть приятным; обычно он излагает свои мысли кратко, точно и ясно; с его губ так и рвутся лаконичнейшие и выразительнейшие фразы, и он лишь с большим трудом удерживается от их произнесения. Он страшится и смущается гнева того, с кем беседует, и тут ему приходит в голову мысль, что гнев этот можно вызвать с помощью ненужных обиняков и отступлений. И этой мысли достаточно. Импульс переходит в соблазн, соблазн — в желание, желание — в жгучую потребность, после чего потребность эта (к глубокому сожалению и стыду говорящего и невзирая на все возможные последствия) незамедлительно удовлетворяется.

Нам нужно как можно скорее выполнить какую-то работу. Мы знаем, что любая отсрочка окажется гибельной. Важнейший кризис нашей жизни, как боевая труба, призывает нас к немедленным действиям. Мы полны рвения, мы жаждем скорее приступить к выполнению задачи, предвкушая упоительные результаты, мысль

о которых преисполняет нас восторгом. Это нужно, это необходимо сделать именно сегодня, и тем не менее мы откладываем все на завтра. А почему? Ответ один: из духа противоречия, хотя мы и не осведомлены о принципе, кроющемся за этим словом. Наступает новый день и приносит с собой еще более нетерпеливое желание поскорее выполнить возложенный на нас долг, но, усиливаясь, наше нетерпение приносит с собой, кроме того, безымянную, пугающую своей необъяснимостью жажду мешкать. Жажда эта с каждой проходящей минутой становится все необоримей. Приближается последний срок, когда еще можно что-то сделать. Мы содрогаемся от ярости происходящей в нашей душе борьбы определенного с неопределенным, материального с тенью. Но если уж борьба зашла так далеко, победа останется за тенью — сопротивление наше тщетно. Бьют часы — это отходная нашему благополучию. Но это же и петушиный крик, спугивающий призрака, столь долго порабощавшего нас. Он бежит, он исчезает. Мы свободны. Былая энергия возвращается к нам. *Теперь* мы готовы трудиться. Увы, уже *поздно*.

Мы стоим на краю пропасти. Мы заглядываем в бездну, и нами овладевают головокружение и

дурнота. Первый наш импульс — скорее отойти от опасного места. Но почему-то мы остаемся. Медленно и постепенно головокружение, дурнота и ужас сливаются в облако чувства, которому нет названия. Мало-помалу, еле заметно, это облако обретает форму, точно дым, поднявшийся из бутылки, в которой был заключен джинн, как повествуется в сказках «Тысячи и одной ночи». Однако из нашего облака над краем бездны рождается образ несравненно более ужасный, чем любые сказочные джинны или демоны, хотя это всего лишь мысль — правда, мысль чудовищная, пронизывающая нас до мозга костей леденящим экстатическим ужасом. Это — всего лишь попытка вообразить, что успели бы вы почувствовать во время стремительного падения с подобной высоты. И вот этого-то падения, этого стремительного превращения в ничто — именно потому, что оно связано с одним из самых отвратительных и мерзких способов смерти и страдания, какой только рождался в нашем воображении, — мы теперь томительно жаждем. И лишь потому, что разум настойчиво требует, чтобы мы отошли от пропасти, лишь поэтому мы упрямо к ней приближаемся. Нет в природе другой столь демонически нетерпеливой страсти, как страсть,

обуревающая человека, который, трепеща на краю пропасти, вот так смакует падение туда. Прислушаться хотя бы на миг к голосу рассудка значит неминуемо погибнуть, ибо рассудок побуждает нас отступить, а этого, утверждаю я, мы сделать не способны. И если рядом не окажется дружеской руки, чтобы остановить нас, если нам не удастся броситься навзничь, в сторону, противоположную бездне, мы прыгнем в нее и погибнем.

Как бы мы ни рассматривали эти и подобные им поступки, мы неизбежно придем к выводу, что причиной их был только дух *противоречия*. Мы совершаем их лишь в силу чувства, что *не должны* их совершать. Под этим или за этим не кроется никакого разумного принципа, и мы были бы вправе считать такое поведение прямым плодом подстрекательства врага рода человеческого, если бы иной раз оно не служило благим целям.

Все это я сообщаю для того, чтобы в какой-то мере дать ответ на ваш вопрос, чтобы объяснить вам, почему я нахожусь здесь, чтобы подсказать вам хотя бы слабое подобие причины того, что я отягощен этими оковами и сижу в камере обреченных. Без этих пространных объяснений вы либо совсем меня не поняли бы, либо,

подобно бессмысленной черни, сочли бы меня сумасшедшим. Теперь же вы без труда поймете, что я — одна из бесчисленных жертв беса противоречия.

Ни одно деяние не подготавливалось с такой тщательностью. Много недель, много месяцев размышлял я о том, как совершить это убийство. Я отверг тысячи планов, потому что их исполнение таило в себе хотя бы отдаленную возможность разоблачения. Наконец в каких-то французских мемуарах я натолкнулся на описание болезни, едва не ставшей роковой, которая сразила мадам Пило после того, как возле нее некоторое время горела случайно отравленная свеча. Эта идея поразила мое воображение. Мне было известно обыкновение моей будущей жертвы читать в постели. Я знал также, что спальня узка и плохо проветривается. Но я не стану докучать вам ненужными подробностями. Я не стану описывать те незамысловатые хитрости, с помощью которых я подменил свечу в подсвечнике у его кровати палочкой из воска, отлитой мною самим. Наутро его нашли в постели мертвым, и вердикт следственного судьи гласил: «Скоропостижная смерть».

Я унаследовал его состояние и в течение многих

лет не знал никаких забот. Возможность разоблачения представлялась мне невероятной. Огарок смертоносной свечи я успешно уничтожил. Я не оставил ни одной улики, на основании которой можно было бы вынести мне обвинительный приговор или хотя бы заподозрить меня в преступлении. Думая о своей полной неуязвимости, я испытывал неизъяснимое удовольствие. Годы и годы я упивался этим чувством. Оно приносило мне больше настоящей радости, чем всего лишь материальные плоды моего греха. Однако в конце концов наступил день, когда это приятное ощущение начало незаметно и постепенно превращаться в неотвязную и тревожную мысль. Она тревожила своей неотвязностью. Мне не удавалось отделаться от нее ни на мгновение. Как часто досаждает нам звенящая в наших ушах, а вернее, в нашей памяти простенькая песенка или ничем не примечательная оперная ария! И нам не становится легче оттого, что песенка эта очень хороша, а ария написана прославленным композитором. Вот так с какого-то времени я начал постоянно ловить себя на том, что размышляю о своей полной безопасности и вполголоса повторяю слова: «Мне ничто не угрожает».

Однажды, прогуливаясь по городу, я смолк,

заметив, что произношу эту привычную фразу вслух. В припадке раздражения я переиначил ее следующим образом: «Мне ничто не угрожает, мне ничто не угрожает… да, если я не буду так глуп, чтобы признаться самому!»

Не успел я произнести эти слова, как в мое сердце проник леденящий холод. Я по опыту знал, что человек нередко поступает наперекор себе (о природе этого явления я уже сказал достаточно), и помнил, что мне еще ни разу не удалось успешно справиться с собой, когда мной овладевал дух противоречия. И вот теперь мое собственное случайное предположение, будто я могу оказаться настолько глуп, что добровольно признаюсь в совершенном мною убийстве, предстало передо мной, словно призрак того, кого я убил, и начало манить меня на путь, ведущий к смерти.

Сначала я попытался рассеять кошмар, овладевший моей душой. Я пошел энергичной походкой, все быстрее, быстрее… и наконец побежал. Меня охватило безумное желание вопить во весь голос. Каждый новый приступ мыслей преисполнял меня новым ужасом, ибо, увы, я слишком хорошо понимал, что *думать* теперь означало погибнуть. Я еще ускорил свой бег. Я мчался как сумасшедший среди толп, заполнявших улицы.

Наконец прохожие, заподозрив что-то неладное, бросились за мной в погоню. И тут я почувствовал, что моя судьба свершается. Если бы я мог вырвать свой язык, я сделал бы это… но в моих ушах зазвучал грубый голос, еще более грубая рука схватила меня за плечо. Я повернулся, я судорожно попытался вздохнуть. Несколько секунд я испытывал все муки удушья. Я ослеп, оглох, я лишался сознания, и тут какой-то невидимый дьявол, показалось мне, ударил меня широкой ладонью по спине. Долго хранимая в душе тайна вырвалась из плена.

Рассказывают, что я говорил очень четко, но взволнованно и со страстной торопливостью, словно боялся, как бы меня не прервали прежде, чем я закончу краткие, но зловещие фразы, обрекавшие меня палачу и аду.

Сообщив все, что было необходимо для вынесения смертного приговора, я упал в обморок.

Но к чему продолжать? Сегодня я закован в эти цепи и нахожусь *здес*ь. Завтра я буду свободен от оков — но *где*?

Черный кот

[82]

Я не надеюсь и не притязаю на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший — и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение — это ясно, кратко, не мудрствуя лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас — они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху — многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение — такой человек, с умом, более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня,

[82] Сноски: 82

© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2002.

усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий.

С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немногое в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто, покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные Человеку.

Женился я рано и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кро-

лики, обезьянка и кот.

Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез — и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить.

Плутон — так звали кота — был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться за мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.

Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер — под влиянием Дьявольского Соблазна — резко изменились (я сгораю от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачней, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на

них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. Но болезнь развивалась во мне, — а нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю! — и наконец даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее, — даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава.

Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его; испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови, укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело; и злоба, свирепее дьявольской, распаляемая джином, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал ему глаз! Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство.

Наутро, когда рассудок вернулся ко мне — когда

я проспался после ночной попойки и винные пары выветрились, — грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаяние, смешанное со страхом; но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном.

Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал, едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мне привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом — к неотторжимым, первозданным способностям, или чувствам, которые определяют самую природу Человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок

безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей погибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию — к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла — и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку — повесил, хотя слезы текли у меня из глаз и сердце разрывалось от раскаянья, — повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю, — повесил, потому что знал, какой совершаю грех — смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута — будь это возможно — в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа.

В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик: «Пожар!» Занавеси у моей кровати полыхали. Весь дом был объят пламенем.

Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех пор отчаянье стало моим уделом.

Во мне довольно твердости, дабы не пытаться изыскать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий — и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все стены, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню — я объяснил это тем, что стена была оштукатурена совсем недавно. Подле нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова: «Странно!», «Поразительно!» и всякие восклицания в том же роде возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел на белой поверхности нечто вроде барельефа, изображавшего огромного кота. Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была веревка.

Сначала этот призрак — я попросту не мо-

гу назвать его иначе — поверг меня в ужас и недоумение. Но, поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводнила толпа — кто-то перерезал веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Возможно, таким способом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины притиснули жертву моей жестокости к свежеоштукатуренной перегородке, и от жара пламени и едких испарений на ней запечатлелся рисунок, который я видел.

Хотя я успокоил если не свою совесть, то по крайней мере ум, быстро объяснив поразительное явление, которое только что описал, оно все же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота; и тут в душу мою вернулось смутное чувство, внешне, но только внешне, похожее на раскаяние. Я начал даже жалеть об утрате и искал в грязных притонах, откуда теперь почти не вылезал, похожего кота той же породы, который заменил бы мне бывшего моего любимца.

Однажды ночью, когда я сидел, томимый полузабытьем, в каком-то богомерзком месте, внимание мое вдруг привлекло что-то черное на

одной из огромных бочек с джином или ромом, из которых состояла едва ли не вся обстановка заведения. Несколько минут я не сводил глаз с бочки, недоумевая, как это я до сих пор не замечал столь странной штуки. Я подошел и коснулся ее рукой. То был черный кот, очень крупный — под стать Плутону — и похожий на него как две капли воды, с одним лишь отличием. В шкуре Плутона не было ни единой белой шерстинки; а у этого кота оказалось грязно-белое пятно чуть ли не во всю грудь.

Когда я коснулся его, он вскочил с громким мурлыканьем и потерся о мою руку, видимо, очень обрадованный моим вниманием. А ведь я как раз искал такого кота. Я тотчас пожелал его купить; но хозяин заведения отказался от денег — он не знал, откуда этот кот взялся, — никогда его раньше не видел.

Я все время гладил кота, а когда собрался домой, он явно пожелал идти со мною. Я ему не препятствовал; по дороге я иногда нагибался и поглаживал его. Дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены.

Но сам я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь. Этого я никак не ожидал; однако — не знаю, как и почему это случилось, —

его очевидная любовь вызывала во мне лишь отвращение и досаду. Мало-помалу эти чувства вылились в злейшую ненависть. Я всячески избегал кота; лишь смутный стыд и память о моем прежнем злодеянии удерживали меня от расправы над ним. Проходили недели, а я ни разу не ударил его и вообще не тронул пальцем; но медленно — очень медленно — мною овладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо бежал от постылой твари, как от чумы.

Я ненавидел этого кота тем сильней, что он, как обнаружилось в первое же утро, лишился, подобно Плутону, одного глаза. Однако моей жене он стал от этого еще дороже, она ведь, как я уже говорил, сохранила в своей душе ту мягкость, которая некогда была мне свойственна и служила для меня неиссякаемым источником самых простых и чистых удовольствий.

Но, казалось, чем более возрастала моя недоброжелательность, тем крепче кот ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно описать. Стоило мне сесть, как он забирался под мой стул или прыгал ко мне на колени, донимая меня своими отвратительными ласками. Когда я вставал, намереваясь уйти, он путался у меня под ногами, так что я едва не

падал, или, вонзая острые когти в мою одежду, взбирался ко мне на грудь. В такие минуты мне нестерпимо хотелось убить его на месте, но меня удерживало до некоторой степени сознание прежней вины, а главное — не стану скрывать, — страх перед этой тварью.

В сущности, то не был страх перед каким-либо конкретным несчастьем, — но я затрудняюсь определить это чувство другим словом. Мне стыдно признаться — даже теперь, за решеткой, мне стыдно признаться, — что чудовищный ужас, который вселял в меня кот, усугубило самое немыслимое наваждение. Жена не раз указывала мне на белесое пятно, о котором я уже упоминал, единственное, что внешне отличало эту странную тварь от моей жертвы. Читатель, вероятно, помнит, что пятно это было довольно большое, однако поначалу очень расплывчатое; но медленно — едва уловимо, так что разум мой долгое время восставал против столь очевидной нелепости, — оно приобрело наконец неумолимо ясные очертания. Не могу без трепета назвать то, что оно отныне изображало — из-за этого главным образом я испытывал отвращение и страх и избавился бы, если б только посмел, от проклятого чудовища, — отныне, да будет вам ведомо, оно

являло взору нечто мерзкое — нечто зловещее, — ВИСЕЛИЦУ! — это кровавое и грозное оружие Ужаса и Злодейства — Страдания и Погибели!

Теперь я воистину был несчастнейшим из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я прикончил, не моргнув глазом, — эта презренная тварь причиняла мне — мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, — столько невыносимых страданий! Увы! Денно и нощно не знал я более благословенного покоя! Днем кот ни на миг не отходил от меня, ночью же я что ни час пробуждался от мучительных сновидений и ощущал горячее дыхание этого существа на своем лице и его невыносимую тяжесть, — кошмар во плоти, который я не в силах был стряхнуть, — до конца дней навалившуюся мне на сердце!

Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял теперь лишь злобные мысли — самые черные и злобные мысли, какие только могут прийти в голову. Моя обычная мрачность переросла в ненависть ко всему сущему и ко всему роду человеческому; и более всех страдала от внезапных, частых и неукротимых взрывов ярости, которым я слепо предавался, моя безропотная и многотерпеливая

жена.

Однажды по какой-то хозяйственной надобности мы с ней спустились в подвал старого дома, в котором бедность принуждала нас жить. Кот увязался следом за мной по крутой лестнице, я споткнулся, едва не свернул себе шею и обезумел от бешенства. Я схватил топор и, позабыв в гневе презренный страх, который до тех пор меня останавливал, готов был нанести коту такой удар, что зарубил бы его на месте. Но жена удержала мою руку. В ярости, перед которой бледнеет ярость самого дьявола, я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стона.

Совершив это чудовищное убийство, я с полнейшим хладнокровием стал искать способа спрятать труп. Я понимал, что не могу вынести его из дома днем или даже под покровом ночи без риска, что это увидят соседи. Много всяких замыслов приходило мне на ум. Сперва я хотел разрубить тело на мелкие куски и сжечь в печке. Потом решил закопать его в подвале. Тут мне подумалось, что лучше, пожалуй, бросить его в колодец на дворе — или забить в ящик, нанять носильщика и велеть вынести его из дома. Наконец, я избрал, как мне казалось, наилучший путь. Я решил замуровать труп в стене, как неко-

гда замуровывали свои жертвы средневековые монахи.

Подвал прекрасно подходил для такой цели. Кладка стен была непрочной, к тому же не столь давно их наспех оштукатурили, и по причине сырости штукатурка до сих пор не просохла. Более того, одна стена имела выступ, в котором для украшения устроено было подобие камина или очага, позднее заложенного кирпичами и тоже оштукатуренного. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда труп и снова заделать отверстие так, что самый наметанный глаз не обнаружит ничего подозрительного.

Я не ошибся в расчетах. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи, поставил труп стоймя, прислонив его к внутренней стене, и без труда водворил кирпичи на место. Со всяческими предосторожностями я добыл известь, песок и паклю, приготовил штукатурку, совершенно неотличимую от прежней, и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я убедился, что все в полном порядке. До стены словно никто и не касался. Я прибрал с полу весь мусор, до последней крошки. Затем огляделся с торжеством и сказал себе:

— На сей раз по крайней мере труды мои не пропали даром.

После этого я принялся искать тварь, бывшую причиной стольких несчастий; теперь я наконец твердо решился ее убить. Попадись мне кот в то время, участь его была бы решена; но хитрый зверь, напуганный, как видно, моей недавней яростью, исчез, будто в воду канул. Невозможно ни описать, ни даже вообразить, сколь глубокое и блаженное чувство облегчения наполнило мою грудь, едва ненавистный кот исчез. Всю ночь он не показывался; то была первая ночь, с тех пор как он появился в доме, когда я спал крепким и спокойным сном; да, спал, хотя на душе моей лежало бремя преступления.

Прошел второй день, потом третий, а мучителя моего все не было. Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из дома навсегда! Я более его не увижу! Какое блаженство! Раскаиваться в содеянном я и не думал. Было учинено короткое дознание, но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск — но, разумеется, ничего не нашли. Я не сомневался, что отныне буду счастлив.

На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули полицейские и снова произвели в доме тщательный обыск. Однако я был уверен, что тайник невозможно обнаружить,

и чувствовал себя преспокойно. Полицейские велели мне присутствовать при обыске. Они обшарили все уголки и закоулки. Наконец они в третий или четвертый раз спустились в подвал. Я не повел и бровью. Сердце мое билось так ровно, словно я спал сном праведника. Я прохаживался по всему подвалу. Скрестив руки на груди, я неторопливо вышагивал взад-вперед. Полицейские сделали свое дело и собрались уходить. Сердце мое ликовало, и я не мог сдержаться. Для полноты торжества я жаждал сказать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невиновности.

— Господа, — сказал я наконец, когда они уже поднимались по лестнице, — я счастлив, что рассеял ваши подозрения. Желаю вам всем здоровья и немного более учтивости. Кстати, господа, это… это очень хорошая постройка (в неистовом желании говорить непринужденно я едва отдавал себе отчет в своих словах), я сказал бы даже, что постройка попросту превосходна. В кладке этих стен — вы торопитесь, господа? — нет ни единой трещинки. — И тут, упиваясь своей безрассудной удалью, я стал с размаху колотить тростью, которую держал в руке, по тем самым кирпичам, где был замурован труп моей благоверной.

Господи Боже, спаси и оборони меня от когтей

сатаны! Едва смолкли отголоски этих ударов, как мне откликнулся голос из могилы!.. Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешел в неумолчный, громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, — в звериный вой, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопиют все обреченные на вечную муку и злобно ликуют дьяволы.

Нечего и говорить о том, какие безумные мысли полезли мне в голову. Едва не лишившись чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские неподвижно стояли на лестнице, скованные ужасом и удивлением. Но тотчас же десяток сильных рук принялись взламывать стену. Она тотчас рухнула. Труп моей жены, уже тронутый распадом и перепачканный запекшейся кровью, открылся взору. На голове у нее, разинув красную пасть и сверкая единственным глазом, восседала гнусная тварь, которая коварно толкнула меня на убийство, а теперь выдала меня своим воем и обрекла на смерть от руки палача. Я замуровал это чудовище в каменной могиле.

1843

Ты еси муж, сотворивый сие!

[83]

Мне предстоит сейчас, сыграв роль Эдипа, разгадать загадку Рэттлборо. Я намерен открыть вам — ибо, кроме меня, этого никто не может сделать — секрет хитроумной выдумки, без которой не бывать бы чуду в Рэттлборо — чуду единственному и неповторимому, истинному, общепризнанному, бесспорному и неоспоримому чуду; оно раз и навсегда положило конец неверию среди местных жителей и вернуло к старушечьему ханжеству всех, кто прежде, не помышляя ни о чем, кроме плоти, отваживался щеголять скептицизмом.

Это случилось — я постараюсь избежать неуместно-легкомысленного тона — летом 18… года. Мистер Барнабас Челноук, один из самых состоятельных и самых уважаемых жителей города, исчез за несколько дней перед тем при обстоятельствах, дававших повод для весьма мрачных подозрений. Мистер Челноук выехал из Рэттлборо верхом рано утром в субботу; путь его

---

[83] Сноски: 83

© Перевод. С. Маркиш, наследники, 2011.

лежал в город, что в пятнадцати милях от Рэттлборо, и он намеревался возвратиться в тот же день к вечеру. Два часа спустя лошадь вернулась назад без всадника и без вьюков, которые мистер Челноук приторочил к седлу перед отъездом. К тому же она была ранена и покрыта грязью. Все это, вместе взятое, разумеется, весьма встревожило друзей пропавшего; а когда в воскресенье утром стало известно, что мистер Челноук все еще не появился, весь городок поднялся и en masse[84] отправился на розыски тела.

Самым настойчивым и энергичным организатором этих поисков был близкий друг мистера Челноука, некий мистер Чарлз Душкинс, или, как решительно все его называли, — «Чарли Душкинс», или — «старина Чарли Душкинс». Есть ли тут какое-нибудь удивительное совпадение или самое имя неуловимо влияет на характер — это я никогда толком не мог понять; но факт остается фактом: еще не существовало на свете человека по имени Чарлз, который не был бы храбрым, честным, откровенным и добродушным малым, душа нараспашку: и голос у него звучный, внятный и ласкающий слух, и глаза всегда глядят

[84] Сноски: 84
Сообща, толпой (*фр.*).

прямо на вас, словно говоря: «У меня совесть чиста, мне бояться некого, и, уж во всяком случае, ни на какую низость я не способен». Вот почему всех приветливых и беззаботных людей наверняка зовут Чарлз.

Итак, «старине Чарли Душкинсу», — хоть он и появился в городке всего месяцев шесть назад или около того и хотя прежде никто не слыхал о нем, — не стоило ни малейшего труда завязать знакомства со всеми уважаемыми гражданами Рэттлборо. Любой из них не задумываясь ссудил бы ему под честное слово хоть тысячу; что же касается женщин, то невозможно даже представить себе, чего бы они не сделали, лишь бы угодить «старине Чарли». И все только потому, что при крещении его нарекли Чарлзом — и, следовательно, он уже не мог не обладать тем открытым лицом, которое, как говорится, служит лучшей рекомендацией.

Я уже упомянул о том, что мистер Челноук считался одним из самых уважаемых и, несомненно, самым состоятельным человеком в Рэттлборо, а «старина Чарли Душкинс» был с ним так близок — ну, прямо брат родной! Оба старых джентльмена жили рядом, и хотя мистер Челноук едва ли хоть раз побывал в гостях у

«старины Чарли» и, как хорошо было известно, никогда не садился у него за стол, все же, как я только что заметил, это нисколько не мешало их тесной дружбе: дня не проходило без того, чтобы «старина Чарли» раза три-четыре не заглянул к соседу справиться, как дела, весьма часто оставался завтракать или пить чай и почти ежедневно — обедать; а уж сколько стаканчиков пропускали приятели за один присест, пожалуй, и не сосчитаешь.

Любимым напитком «старины Чарли» было шато-марго, и глядя, как этот почтенный джентльмен вливает себе в глотку кварту за квартой, мистер Челноук, казалось, радовался от всей души. И вот однажды, когда головы наполнились винными парами, а бутылки соответственно опустели, мистер Челноук, хлопнув своего закадычного друга по спине, объявил ему: «Знаешь, что я тебе скажу, старина Чарли? Ей-богу, ты самый славный малый, какого мне доводилось встречать на своем веку, и раз тебе нравится хлестать вино этаким вот манером, так будь я проклят, если не подарю тебе большущий ящик шато-марго! Разрази меня Бог — (у мистера Челноука была прискорбная привычка божиться, хоть он и редко заходил дальше таких выраже-

ний, как «Разрази меня Бог» или «Ей-же-ей» или «Чтоб мне провалиться»), — разрази меня Бог, — продолжал он, — если я сегодня же после обеда не отправлю в город заказ на двойной ящик самого лучшего шато, какое только удастся сыскать, и я подарю его тебе, да, подарю! — молчи, не возражай мне — непременно подарю, слышишь? И дело с концом! Так смотри же — на днях тебе его привезут, — как раз тогда, когда ты и ждать-то не будешь!» Я упомянул об этом небольшом проявлении щедрости со стороны мистера Челноука лишь для того, чтобы показать вам, насколько близкими были отношения двух друзей.

Так вот, в то воскресное утро, о котором идет речь, когда стало уже совершенно ясно, что с мистером Челноуком случилось что-то неладное, никто, по-моему, не был потрясен глубже, чем «старина Чарли Душкинс». В первую минуту, услыхав, что лошадь вернулась домой без хозяина и без седельных вьюков, вся залитая кровью, струившейся из раны, — пистолетная пуля пробила насквозь грудь несчастного животного, хоть и не уложила его на месте, — услыхав об этом, он весь побелел, как будто пропавший был его любимым братом или отцом, и задрожал всем телом, словно в тяжком пароксизме лихорадки.

Сначала он был слишком поглощен своим горем для того, чтобы начать действовать или обдумать какой-либо план, и даже довольно долго уговаривал остальных друзей мистера Челноука не поднимать пока шума: лучше всего-де подождать немного — скажем, неделю-две, или месяц-другой, — авось что-нибудь да выяснится или, глядишь, появится и сам мистер Челноук, собственной персоной, и объяснит, почему ему вздумалось отправить лошадь домой. Я полагаю, вам не раз случалось замечать это желание повременить, помешкать у людей, которых гложет мучительная скорбь. Душа их словно оцепенела, они испытывают ужас перед всяким подобием действия и ни на что в мире не променяют возможности лежать в постели и, как выражаются пожилые дамы, «лелеять свое горе», иными словами — все вновь и вновь оплакивать случившееся несчастье. Жители Рэттлборо были очень высокого мнения об уме и рассудительности «старины Чарли», и большинство склонялось к мысли, что он прав и что не следует поднимать шум, «пока что-нибудь не выяснится», — как выразился сей почтенный старый джентльмен; и я полагаю, что в конце концов на том бы все и порешили, если бы не крайне подозрительное

вмешательство племянника мистера Челноука, молодого человека, ведущего весьма беспорядочный образ жизни и к тому же наделенного отвратительным характером.

Этот племянник, по имени Шелопайн, и слышать не хотел о том, что «нужно-де сидеть спокойно», и настоятельно требовал немедленно начать поиски «тела убитого». Именно так он и выразился, и мистер Душкинс тогда же справедливо заметил, что «это выражение по меньшей мере странное». Последнее замечание «старины Чарли» также произвело большое впечатление на собравшихся, и слышали даже, как кто-то весьма внушительно вопросил: «Каким образом могло случиться, что молодой мистер Шелопайн столь хорошо знаком со всеми обстоятельствами исчезновения своего богатого дяди и чувствует себя вправе ясно и недвусмысленно утверждать, будто дядя его убит?» После этого некоторые из присутствовавших обменялись колкостями и резкостями, а в особенности «старина Чарли» и мистер Шелопайн; последнее, впрочем, никого особенно не удивило, ибо вот уже три-четыре месяца как между ними не было и намека на приязнь, а однажды дошло даже до того, что мистер Шелопайн ударом кулака сбил с ног друга

своего дяди якобы за какую-то чрезмерную вольность, которую тот позволил себе в доме дяди, где проживал и племянник. Говорят, что в ту минуту «старина Чарли» явил собою образец выдержки и христианского смирения. Он поднялся на ноги, привел в порядок свое платье и даже не попытался воздать обидчику злом за зло. Он только пробормотал несколько слов, что, мол, «за все расквитается с ним при первом же удобном случае» — естественное и вполне понятное излияние гнева, еще ничего, впрочем, не означавшее и, вне всякого сомнения, тут же забытое.

Как бы то ни было (случай этот не имеет ни малейшего касательства к тому, о чем здесь идет речь), известно, что граждане Рэттлборо, главным образом послушавшись уговоров мистера Шелопайна, решили наконец разойтись и приступить к розыскам исчезнувшего мистера Челноука. Я хочу сказать, что таково было самое первое их решение. Когда никто уже более не сомневался, надо ли начинать розыски, было высказано мнение, что участники поисков должны, конечно, разойтись в разные стороны, иными словами — разбиться на группы для более тщательного обследования местности. Но «старина Чарли» с помощью цепи остроумных рассуж-

дений (я уж теперь не помню, каких именно) в конце концов убедил собравшихся, что этот план — самый неразумный из всех возможных; да, убедил — всех, кроме мистера Шелопайна. Итак, условились, что поиски, упорные и весьма обстоятельные, будут вести горожане en masse во главе с самим «стариною Чарли».

Что касается последней детали этого решения, то лучшего предводителя, чем «старина Чарли», найти было невозможно: каждый знал, что взор у него острее, чем у рыси. Однако, хоть он и заглядывал со своим отрядом в разные ямы и укромные уголки, хоть он и водил его по дорогам, о существовании которых никто и не подозревал, и хотя поиски продолжались непрерывно, днем и ночью, почти целую неделю, все же никаких следов мистера Челноука обнаружить не удалось. Впрочем, когда я говорю «никаких следов», не надо понимать меня буквально, потому что какие-то следы, конечно, были. Путь несчастного джентльмена удалось проследить по отпечаткам подков его лошади (на этих подковах была особая метка) до определенного пункта, примерно в трех милях к востоку от городка, на большой дороге, ведущей в соседний город. Здесь следы сворачивали на глухую тропинку; она шла прямо

через лес и снова выходила на большую дорогу, сокращая путь примерно на полмили. Отпечатки подков привели наконец к заболоченному озерку, скрывавшемуся в зарослях ежевики справа от тропинки, и на берегу озерка все следы терялись. Заметно было, однако, что здесь происходила какая-то борьба и, по-видимому, с тропинки в воду волокли какое-то большое и тяжелое тело, гораздо больше и тяжелее человеческого. Дно озерка дважды тщательно обшарили, но ничего не нашли, и горожане, разочаровавшись и не веря в успех, уже готовы были отправиться дальше, когда провидение внушило мистеру Душкинсу счастливую мысль спустить воду совсем.

Этот план был встречен возгласами одобрения и восторженными похвалами проницательности и уму «старины Чарли». Так как многие запаслись лопатами на случай, если придется выкапывать труп, воду отвели легко и быстро; и едва лишь показалось покрытое илом дно, как на самой середине был обнаружен черный бархатный жилет, в котором почти все присутствовавшие немедленно признали часть одежды мистера Шелопайна. Жилет был весь изодран и испачкан кровью, и сразу же нашлись люди, которые отчетливо помнили, что он был на своем владельце в

то самое утро, когда мистер Челноук отправился в город.

Нашлись и другие, готовые, в случае надобности, присягнуть, что той одежды, о которой идет речь, на мистере Шелопайне в течение всей остальной части столь памятного дня не было; но не оказалось никого, кто стал бы утверждать, что хоть раз видел ее на мистере Шелопайне после исчезновения мистера Челноука.

Дело принимало серьезный для мистера Шелопайна оборот, и, как доказательство, неоспоримо подтверждающее возникшие против него подозрения, было отмечено, что он побелел как стена, а на вопрос, может ли он что-нибудь сказать в свое оправдание, не мог ответить ни слова. Вслед за тем немногие друзья, которых еще не успел оттолкнуть его разгульный образ жизни, покинули его, бежали все до одного и даже ухитрились перекричать старых и откровенных врагов, требуя немедленного ареста преступника. Тем ярче засияло на этом фоне великодушие мистера Душкинса. Он выступил с горячей и чрезвычайно красноречивой защитой мистера Шелопайна и неоднократно ссылался на то, что от чистого сердца простил этому несдержанному молодому джентльмену — «наследнику достойного мистера

Челноука» — оскорбление, которое он (молодой джентльмен), бесспорно в пылу гнева, счел возможным нанести ему (мистеру Душкинсу). Да, он искренне прощает его; и что касается его (мистера Душкинса), то он никак не намерен доводить до крайности подозрения, которые — увы, этого нельзя отрицать — возникли против мистера Шелопайна; он (мистер Душкинс) сделает все, что в его силах, употребит весь тот скромный запас красноречия, которым он располагает, для того, чтобы… чтобы… ну, скажем, выставить в более благоприятном свете — насколько совесть ему позволит — наиболее тяжелые детали этого и впрямь до крайности запутанного дела.

Мистер Душкинс продолжал в том же духе еще с полчаса, которые послужили к вящему прославлению как его ума, так и сердца. Но ведь слова подобных добряков так редко отвечают истинным их намерениям; охваченные самым горячим желанием помочь другу, они теряют голову и окончательно запутываются во всевозможных contretemps[85] и mal a proposisms[86] и таким образом — часто с самыми лучшими наме-

[85] Сноски: 85
Здесь: недоразумениях (*фр.*).

[86] Сноски: 86
Неуместных оговорках (*фр.*).

рениями — приносят делу несравненно больше вреда, чем пользы.

Так случилось и теперь, невзирая на все красноречие «старины Чарли».

Хоть он и не щадил своих сил, действуя в интересах заподозренного, все же, по какой-то необъяснимой причине, каждое слово, слетавшее с уст мистера Душкинса и непреднамеренно, но вполне очевидно направленное к тому, чтобы возвеличить оратора в глазах его слушателей, лишь укрепляло подозрения, уже возникшие против того, чьим адвокатом он выступал, и разжигало ярость толпы.

Одним из самых досадных промахов, допущенных оратором, было упоминание о том, что заподозренный — «наследник достопочтенного джентльмена старого мистера Челноука». И в самом деле, раньше это никому и в голову не приходило. Помнили только, что год или два назад дядя (у которого не было никаких других родственников, кроме племянника) грозился лишить его наследства, а потому все и всегда считали это дело решенным — очень уж простодушны были граждане Рэттлборо. Но замечание, оброненное «стариной Чарли», сразу же заставило их призадуматься и напомнило о том, что

иногда угрозы могут оказаться только угрозами, не больше. И сразу же встал вполне естественный вопрос — cui bono? — вопрос, который еще более упрямо, чем жилет, возлагал бремя страшного обвинения на плечи молодого человека. Здесь, — так как я опасаюсь, что меня могут понять неправильно, — разрешите мне на мгновение отвлечься: я хотел бы лишь заметить, что чрезвычайно лаконичная и простая латинская фраза, которую я употребил, неизменно переводится и истолковывается неверно. «Cui bono» во всех модных романах и вообще в романах — например, у миссис Гор (автора «Сесила»), особы, которая приводит цитаты на всех языках, от халдейского до наречия племени чикасо, и в своих систематических занятиях по необходимости пользуется услугами мистера Бекфорда, — во всех, повторяю, модных романах, от Вулвера и Диккенса до Зашибигрош и Эйнсворта, два коротеньких латинских слова cui bono переводятся «с какой целью?» или (будто это quo bono) «чего ради?» А между тем их подлинное значение — «в чью пользу». Cui — кому, bono — на благо? Это чисто юридическая формула, и применяется она как раз в делах, подобных описываемому нами, — когда вероятный субъект деяния уста-

навливается в зависимости от вероятной выгоды, которую может принести тому или иному лицу совершение этого деяния. И вот, в данном случае, вопрос cui bono бросал весьма густую тень на мистера Шелопайна. Его дядя, составив завещание в его пользу, потом начал грозить ему лишением наследства. Но угроза не была выполнена: старое завещание, по-видимому, изменено не было.

Если бы оно было изменено, единственным возможным мотивом для убийства могла бы оказаться обычная жажда мести: однако даже в этом случае злое чувство могло бы уступить надежде вновь снискать благосклонность дяди. Но коль скоро завещание осталось неизменным, а угроза изменить его продолжала висеть над головою племянника, тут уж сразу становился очевидным самый сильный из всех возможных стимулов к зверской расправе.

Именно так и порешили, выказав при этом свою глубочайшую проницательность, достойные граждане Раттлборо.

В соответствии с этим мистер Шелопайн был немедленно арестован, и толпа, еще немного поискав и порыскав, отправилась домой, держа своего пленника под стражей. По пути, однако, открылось новое обстоятельство, укрепившее

прежние подозрения. Кто-то увидел, как мистер Душкинс, который, в силу ревностного своего усердия, все время держался немного впереди остальных, вдруг пробежал несколько шагов, нагнулся и, по-видимому, поднял какой-то небольшой предмет, лежавший в траве. Заметили также, что, быстро осмотрев этот предмет, он попытался, правда довольно неуверенно, спрятать его в карман сюртука; но эта попытка была, как я уже сказал, обнаружена и, разумеется, предупреждена. Тут-то и выяснилось, что находка мистера Душкинса — не что иное, как испанский нож, в котором не меньше десятка свидетелей сразу же опознали вещь, принадлежащую мистеру Шелопайну. Более того: на рукоятке были выгравированы его инициалы. Нож был раскрыт, и лезвие испачкано кровью.

Виновность племянника не вызывала больше сомнений, и, немедленно по прибытии в Рэттлборо, он был доставлен к следователю для допроса.

Здесь дело снова приняло крайне неблагоприятный оборот. Арестованный в ответ на вопрос, где он находился в то утро, когда исчез мистер Челноук, имел дерзость подтвердить, что в то самое утро он охотился с ружьем на оленей неподалеку от озерка, в котором, благодаря

сообразительности мистера Душкинса, был обнаружен запятнанный кровью жилет.

Тут вышеозначенный джентльмен выступил вперед и со слезами на глазах попросил разрешения дать показания. Он заявил, что непреклонное чувство долга, которое он питает по отношению к своему творцу, а равно и по отношению к своим собратьям здесь, на земле, не позволяет ему долее хранить молчание. До сих пор искренняя привязанность к молодому человеку (несмотря на последнюю его резкую выходку, направленную против него, мистера Душкинса) заставляли его строить всевозможные гипотезы, какие только могло подсказать воображение, чтобы как-нибудь объяснить то, что представлялось подозрительным в обстоятельствах, столь решительно говоривших против мистера Шелопайна; но эти обстоятельства становятся теперь слишком убедительными… слишком обличающими; он не станет больше колебаться, — он расскажет все, что знает, хотя его (мистера Душкинса) сердце от столь горестного усилия готово разорваться. Далее он утверждал, будто во второй половине дня накануне отъезда мистера Челноука в город этот достойный старый джентльмен в его (мистера Душкинса)

присутствии намекнул своему племяннику, что завтрашнюю поездку он предпринимает для того, чтобы положить в «Сельскохозяйственный и промышленный банк» чрезвычайно крупную сумму; при этом упомянутый мистер Челноук прямо и недвусмысленно объявил упомянутому племяннику о своем бесповоротном решении уничтожить прежнее завещание и не оставить ему ни гроша. Он (свидетель) далее торжественно призвал обвиняемого ответить, являются или не являются его (свидетеля) показания, которые он только что дал, истиной во всех своих существенных подробностях. К великому удивлению всех присутствующих, мистер Шелопайн открыто признал, что все это — истина.

Тогда следователь счел своим долгом отправить двух констеблей с наказом обыскать комнату, которую занимал обвиняемый в доме своего дяди. Констебли не замедлили вернуться и принесли с собой знакомый многим коричневый кожаный бумажник, оправленный узкой полоскою стали, с которым старый джентльмен не расставался вот уже много лет. Однако его драгоценное содержимое исчезло, и следователь безуспешно старался выпытать у арестованного, на что он употребил деньги или куда он их спрятал, — ми-

стер Шелопайн упорно утверждал, что знать ничего не знает. Констебли обнаружили также под матрасом несчастного рубашку и шейный платок — оба помеченные его инициалами и оба пропитанные кровью жертвы.

При таком-то стечении обстоятельств было доставлено известие, что лошадь убитого только что пала в своем стойле от раны, которую получила в памятный для всех день, и мистер Душкинс высказался в том смысле, что должно учинить немедленное post mortem[87] вскрытие животного — быть может, удастся обнаружить пулю. Так и сделали, и вот, словно для того, чтобы рассеять последние сомнения в виновности арестованного, мистеру Душкинсу, после долгого исследования грудной полости лошади, удалось найти и извлечь пулю; весьма необычные размеры ее, как было установлено экспертизой, в точности совпадали с калибром ружья мистера Шелопайна; с другой стороны, ни у кого в городке и его окрестностях не было второго ружья с таким же стволом. Но и это еще не все: на пуле оказалось подобие трещинки или бороздки, проходившей под прямым углом к обычному шву;

---

[87] Сноски: 87
Посмертное (*лат.*).

расследование показало, что бороздка эта как раз соответствует случайной неровности или выступу в литейной форме, принадлежавшей — по его собственному признанию — обвиняемому. Осмотрев найденную пулю, следователь отказался выслушивать дальнейшие показания и тут же объявил, что арестованный будет предан суду.

Он решительно отклонил просьбу выпустить мистера Шелопайна на поруки, хотя мистер Душкинс весьма горячо протестовал против такой суровости и вызвался даже внести в залог любую сумму, какую только потребуют власти. Впрочем, великодушие «старины Чарли» вполне соответствовало общему характеру его поведения, доброжелательству и рыцарской любезности, от которых он ни разу не отступал за все время своего пребывания в Рэттлборо. В данную минуту этот достойный человек был до такой степени увлечен порывом чрезмерно горячего сострадания, что, изъявляя намерение взять на поруки своего юного друга, видимо, совсем забыл, что у него самого (мистера Душкинса) нет и гроша за душой.

Дальнейшее развитие событий предугадать нетрудно. Когда мистер Шелопайн под громкие проклятия всего Рэттлборо предстал перед

судом во время ближайшей сессии, цепь косвенных улик (ставшая еще нерасторжимее в силу некоторых дополнительных порочащих фактов, утаить каковые от блюстителей правосудия мистеру Душкинсу помешала его необычайно чуткая совесть) была признана до такой степени исчерпывающей и столь убедительной, что присяжные, не покидая своих мест, немедленно вынесли вердикт: «Виновен в убийстве при отягчающих вину обстоятельствах». Вскоре вслед за тем несчастный выслушал смертный приговор и был препровожден в окружную тюрьму, где ему предстояло ожидать неумолимого возмездия.

А тем временем «старина Чарли Душкинс» за благородное свое поведение сделался особенно дорог честным гражданам Рэттлборо. Он стал в десять раз популярнее, чем раньше. И, вполне естественно, в ответ на гостеприимство, которое ему оказывали, он волей-неволей должен был отказаться от строжайшей бережливости, на которую до сей поры его обрекала бедность; в его доме стали весьма часты маленькие reunions[88]; на них царили шутка и веселье… разумеется, слегка омраченные мелькающими подчас вос-

[88] Сноски: 88
Сборища (*фр.*).

поминаниями о тяжкой и печальной участи, которая угрожала племяннику незабвенного друга нашего хлебосольного хозяина.

В один прекрасный день сей великодушный старый джентльмен был приятно изумлен, получив письмо следующего содержания:

Чарлзу Душкинсу, эскв.,
Рэттлборо. От С., Т., Г. и Ко
Шат. Мар. – А – э 1. – 6 дюж. бутылок
(½ гросса)

«Чарлзу Душкинсу, эсквайру.

Дорогой сэр! В соответствии с заказом, сделанным нашей фирме около двух месяцев назад нашим уважаемым клиентом мистером Барнабасом Челноуком, имеем честь отгрузить сегодня утром в Ваш адрес двойной ящик шато-марго марки «Антилопа» с лиловой печатью; номер и маркировку ящика см. на полях.

Остаемся, сэр, готовые к услугам Свиноу, Тиноу, Глиноу и К° Город ***, 21 июня, 18…

P.S. Ящик будет доставлен Вам фургоном на следующий день после получения настоящего письма. Просим засвидетельствовать наше почтение мистеру Челноуку.

С., Т., Г. и К°».

Дело в том, что мистер Душкинс после смерти мистера Челноука оставил всякую надежду когда-нибудь получить обещанное шато-марго, а потому, получив его теперь, усмотрел в этом некий дар, ниспосланный ему провидением. Охваченный неудержимой радостью, он решил дать назавтра petit souper[89] и пригласил большую компанию друзей, чтобы вместе распить дар старого доброго мистера Челноука. Не то чтобы он упомянул «доброго мистера Челноука», приглашая к себе гостей, — нет, он долго думал и решил вовсе не упоминать об этом. Если память мне не изменяет, он и словом не обмолвился о том, что получил шато-марго в подарок. Он просто попросил друзей помочь ему распить винцо замечательного качества и с тончайшим букетом, которое он выписал из города несколько

---

[89] Сноски: 89
Скромный ужин (*фр.*).

месяцев назад и которое завтра должно прибыть. Я часто недоумевал, почему старина Чарли решил скрыть, что это вино — подарок его старого друга, но так и не мог понять толком соображений, заставлявших его хранить молчание, хотя какие-то высокие и весьма великодушные соображения у него, бесспорно, были.

Наконец наступило завтра, и в доме мистера Душкинса собралось многочисленное и в высшей степени респектабельное общество. Тут было чуть не полгорода (и я в том числе), но час шел за часом, гости уже успели самым усердным образом воздать должное роскошному ужину, которым их угостил «старина Чарли», а шато-марго, к великому огорчению хозяина, все еще не появлялось. Но в конце концов оно все-таки прибыло — чудовищно огромный ящик, смею вас заверить, — и так как настроение у всех присутствовавших было преотличное, nem. con.[90] решили поставить ящик на стол и вскрыть немедленно.

Сказано — сделано. Я тоже приложил руку, и в мгновение ока мы водрузили ящик на стол, посреди бутылок и стаканов, немалое число которых было перебито в ходе этой операции. Тут «стари-

---

[90] Сноски: 90
Единогласно (*лат.*).

на Чарли», изрядно пьяный и раскрасневшийся, с комически важным видом занял место во главе стола и принялся неистово колотить по столу графином, призывая собравшихся соблюдать порядок «при церемонии вскрытия сокровища».

После нескольких громогласных призывов к спокойствию оно было наконец полностью водворено и, как нередко бывает в подобных случаях, воцарилась глубокая и многозначительная тишина. Меня попросили поднять крышку, и я, разумеется, согласился с величайшей охотой. Я всунул в щель долото и только успел несколько раз легонько стукнуть по нему молотком, как вдруг доски отскочили и в тот же миг из ящика стремительно поднялся и сел прямо перед хозяином, весь покрытый пятнами и запекшейся кровью, уже начавший разлагаться труп убитого мистера Челноука; секунду-другую он пристально и скорбно глядел своими потухшими, тронутыми тлением глазами в лицо мистера Душкинса, потом медленно, но отчетливо и выразительно проговорил: «Ты еси муж, сотворивый сие!» — и, словно до конца удовлетворенный своим деянием, перевалился через край ящика, разметав по столу руки.

То, что за этим последовало, не поддается ни-

какому описанию. Свалка у дверей и окон была невообразимая, и немало крепких мужчин буквально чувств лишились от ужаса. Но после того как первый, безумный, неистовый взрыв страха миновал, все взоры обратились к мистеру Душкинсу. Проживи я и тысячу лет, мне не забыть выражения смертной муки, застывшего на этом белом как мел лице, еще так недавно пылавшем от вина и от упоения своим торжеством.

Несколько минут он сидел неподвижно, будто мраморное изваяние; пристальный взгляд его остановившихся глаз был, казалось, обращен внутрь и погружен в созерцание его собственной жалкой и преступной души. Наконец, словно возвращаясь в этот мир, глаза его сверкнули каким-то неожиданным блеском; содрогнувшись, он быстро вскочил со стула, тяжело рухнул головой на стол, так что она коснулась трупа, и с уст его быстро и бурно полилось признание в том самом гнусном преступлении, за которое мистер Шелопайн был заключен в тюрьму и приговорен к смерти.

То, что рассказал убийца, сводилось приблизительно к следующему: он следовал за своей жертвой почти до самого озерка, здесь выстрелил в лошадь из пистолета, уложил всадника ударом

рукоятки, завладел бумажником и, полагая, что лошадь мертва, с большим трудом оттащил ее в заросли ежевики на берегу озерка. Труп мистера Челноука он взвалил на спину собственной лошади и увез его далеко в лес, чтобы спрятать в надежном месте.

Жилет, бумажник, нож и пулю он подбросил для того, чтобы отомстить мистеру Шелопайну. Находку окровавленного шейного платка и рубашки тоже подстроил он.

По мере того как это леденящее кровь повествование близилось к концу, слова злодея звучали все более глухо и невнятно. Когда же показания его были исчерпаны, он выпрямился, отшатнулся от стола и упал — *мертвый*.

Способ, посредством которого удалось вырвать это своевременное признание, был, несмотря на свою действенность, очень прост. Чрезмерное чистосердечие мистера Душкинса неприятно поразило меня и с самого начала вызвало подозрения. Я был при том, как мистер Шелопайн ударил его, и выражение дьявольской злобы, которое скользнуло тогда по его лицу, каким бы мимолетным оно ни было, убедило меня, что он неукоснительно выполнит свою угрозу отомстить при первой же возможности. Итак, я был

уже подготовлен к тому, чтобы взглянуть на маневры «старины Чарли» совсем иными глазами, чем добрые граждане Рэттлборо, и сразу же отметил, что все изобличительные находки — прямо или косвенно — связаны с ним. Но до конца открыл мне глаза на истинное положение вещей эпизод с пулей, найденной мистером Душкинсом в теле лошади. Я-то не забыл, — хоть горожане и забыли, — что кроме отверстия, через которое пуля вошла в тело, было и другое, через которое она вышла. А раз ее нашли в туше уже после того, как животное испустило дух, я был уверен, что пулю подложил тот, кто нашел ее. Окровавленная рубашка и шейный платок подтвердили мысль, на которую меня навела пуля, ибо кровь при ближайшем рассмотрении оказалась превосходным красным вином — не более того. Когда я начал обдумывать все эти факты и сопоставил их с необъяснимо возросшими за последнее время щедростью и расходами мистера Душкинса, я укрепился в своих подозрениях, которые не стали слабее от того, что я ни с кем ими не поделился.

Тем временем я приступил к систематическим тайным поискам трупа мистера Челноука, производившимся, по достаточно веским соображениям, как можно дальше от тех мест, куда

водил своих приверженцев мистер Душкинс. В результате через несколько дней я набрел на старый высохший колодец, прятавшийся в зарослях ежевики; и тут, на дне, я обнаружил то, что искал.

Случилось так, что я был невольным свидетелем того разговора между двумя друзьями, когда мистер Душкинс ухитрился выманить у своего гостеприимного хозяина обещание подарить ему ящик шато-марго. На этом неопределенном обещании я и сыграл. Я раздобыл кусок тугого китового уса, протолкнул его в глотку трупа и дальше вниз, а самый труп положил в старый ящик из-под вина, постаравшись при этом так согнуть тело, чтобы вместе с ним согнулся и китовый ус. Понятно, что мне пришлось сильно нажать на крышку, чтобы удержать се, пока я заколачивал гвозди. И я, разумеется, предвидел, что стоит их выдернуть — и крышка отлетит, а тело выпрямится.

Запаковав указанным образом ящик, я маркировал его, проставил номер и надписал адрес — так, как об этом рассказывалось выше; а затем, отправив письмо от имени виноторговцев, клиентом которых был мистер Челноук, наказал своему слуге по моему знаку подвезти ящик на

тачке к дверям мистера Душкинса. Что касается слов, которые должен был произнести мертвец, то здесь я с уверенностью полагался на свой талант чревовещателя: именно на него я и рассчитывал, надеясь вырвать признание у злодея.

Вот, кажется, и все, больше объяснять нечего. Мистер Шелопайн был немедленно освобожден из-под стражи, получил состояние своего дяди, извлек полезный урок из выпавших на его долю испытаний, начал новую жизнь и с тех пор был неизменно счастлив.

Сердце-обличитель

[91]

Правда! Я нервный — очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж уродился; но как можно называть меня сумасшедшим? От болезни чувства мои только обострились — они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенности — тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле. Я слышал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же! И обратите внимание, сколь здраво, сколь рассудительно могу я рассказать все от начала и до конца.

Сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову; но, явившись однажды, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Никакого повода у меня не было. И бешенства я никакого не испытывал. Я любил этого старика. Он ни разу не причинил мне зла. Ни разу не нанес обиды. Золото его меня не прельщало. Пожалуй, виной всему был его глаз! Да, именно! Один глаз у него был, как у хищной птицы, — голубоватый, подер-

---

[91] Сноски: 91

© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2002.

нутый пленкой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах; мало-помалу, исподволь, я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза.

В этом-то вся суть. По-вашему, я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не соображают. Но видели бы вы меня. Видели бы вы, как мудро я действовал — с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством принялся я за дело! Всю неделю, перед тем как убить старика, я был с ним сама любезность. И всякую ночь, около полуночи, я поднимал щеколду и приотворял его дверь — тихо-тихо! А потом, когда в щель могла войти моя голова, я вводил туда затемненный фонарь, закрытый наглухо, так плотно, что и капли света не могло просочиться, а следом засовывал и голову. Ах, вы не удержались бы от смеха, если б видели, до чего ловко я ее засовывал! Я делал это медленно — очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Лишь через час голова моя оказывалась внутри, так что я мог видеть старика на кровати. Ха!.. Да разве мог бы сумасшедший действовать столь мудро? А когда моя голова проникала в комнату, я открывал фонарь с осторожностью — с превеликой осторожностью, — открывал его (ведь

петли могли скрипнуть) ровно настолько, чтобы один-единственный тоненький лучик упал на птичий глаз. И все это я проделывал семь долгих ночей — всегда ровно в полночь, — но глаз неизменно бывал закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик досаждал мне, а его Дурной Глаз. И всякое утро, когда светало, я преспокойно входил в комнату и без робости заговаривал с ним, приветливо окликал его по имени и справлялся, как ему спалось ночью. Сами видите, лишь очень проницательный человек мог бы заподозрить, что каждую ночь, ровно в двенадцать, я заглядывал к нему, пока он спал.

На восьмую ночь я отворил дверь с особенной осторожностью. Рука моя скользила медленней, чем минутная стрелка на часах. До той ночи я никогда еще так не упивался своим могуществом, своей прозорливостью. Я едва мог сдерживать торжество. Подумать только, я потихоньку отворял дверь, а старику и во сне не снились мои тайные дела и помыслы. Когда это пришло мне на ум, я даже прыснул со смеху, и он, верно, услышал, потому что вдруг шевельнулся, потревоженный во сне. Вы, может быть, подумаете, что я отступил — но ничуть не бывало. В комнате у него было темным-темно (он боялся воров и

плотно закрывал ставни), поэтому я знал, что он не видит, как приотворяется дверь, и потихоньку все налегал на нее, все налегал.

Я просунул голову внутрь и хотел уже было открыть фонарь, даже нащупал пальцем жестяную защелку, но тут старик подскочил, сел на кровати и крикнул: «Кто там?»

Я затаился и молчал. Целый час я простоял не шелохнувшись, и все это время не слышно было, чтобы он опять лег. Он сидел на кровати и прислушивался — точно так же, как я ночь за ночью прислушивался к бессонной гробовой тишине в четырех стенах.

Но вот я услышал слабый стон и понял, что стон этот исторгнут смертным страхом. Не боль, не горесть исторгли его — о нет! — то было тихое, сдавленное стенание, какое изливается из глубины души, терзаемой страхом. Уж я-то знаю. Сколько раз, ровно в полночь, когда весь мир спал, этот стон рвался из собственной моей груди, умножая своим зловещим эхом страхи, которые раздирали меня. Кому уж знать, как не мне. Я знал, что чувствует старик, и жалел его, но все же посмеивался над ним про себя. Я знал, что ему стало не до сна с того самого мгновения, как легкий шум заставил его шевельнуться на кровати.

Ужас одолевал его все сильней. Он пытался убедить себя, что это пустое беспокойство, и не мог. Он твердил себе: «Это всего лишь ветер прошелестел в трубе, это только мышка прошмыгнула по полу», — или: «Это попросту сверчок застрекотал и умолк». Да, он пытался успокоить себя такими уговорами; но все было тщетно. Все тщетно; потому что черная тень Смерти подкрадывалась к нему и уже накрыла свою жертву. И неотвратимое присутствие этой бесплотной тени заставило его почувствовать — незримо и неслышимо почувствовать, что моя голова здесь, в комнате.

Я ждал долго и терпеливо, но не слышал, чтобы он лег снова, и тогда решился приоткрыть фонарь — разомкнуть тонкую-претонкую щелочку. Я стал его приоткрывать — спокойно-преспокойно, так что трудно даже этому поверить, — и вот наконец один-единственный лучик не толще паутинки пробился сквозь щель и упал на птичий глаз.

Он был открыт, широко-преширoко открыт, и от одного его вида я пришел в ярость. Он был передо мной как на ладони, — голубоватый, подернутый отвратительной пленкой, от которой я весь похолодел, но лицо и все тело старика скрывала темнота, потому что я, словно по наитию,

направил луч прямо в проклятую глазницу.

Ну, не говорил ли я вам, что вы полагаете сумасшествием лишь крайнее обострение чувств? Так вот, в ушах у меня послышался тихий, глухой, частый стук, будто тикали часы, завернутые в вату. Мне ли не знать этого звука. То билось сердце старика. Его удары распалили мою ярость, подобно тому как барабанный бой будит отвагу в душе солдата.

Но даже тогда я сдержал себя и не шелохнулся. Я затаил дыхание. Фонарь не дрогнул в моей руке. Я проверил, насколько твердо я могу удерживать луч, направленный в его глаз. А меж тем адский барабанный грохот сердца нарастал. Что ни миг, он становился все быстрей и быстрей, все громче и громче. Страх старика неотвратимо дошел до крайности! С каждым мгновением сердце его билось все громче, да, все громче!.. Понятно вам? Я же сказал, что я нервный: это так. И тогда, глухой ночью, в зловещем безмолвии старого дома, неслыханный этот звук поверг меня самого в беспредельный ужас. И все же еще несколько минут я сдерживал себя и не шелохнулся. Но удары звучали все громче, громче! Казалось, сердце вот-вот разорвется. И тут у меня возникло новое опасение — ведь стук мог услышать кто-нибудь из

соседей! Час старика пробил! С громким воплем я сорвал заслонку с фонаря и прыгнул в комнату. Старик вскрикнул только раз — один-единственный раз. Я мигом стащил его на пол и придавил тяжелой кроватью. Дело было сделано на славу, и я сиял от радости. Но долгие минуты сердце еще глухо стучало. Однако это меня не беспокоило; теперь уж его не могли услышать за стеной. Наконец все смолкло. Старик был мертв. Я оттащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки, навеки мертв. Я приложил руку к его груди, против сердца, и держал так долгие минуты. Сердце не билось. Он был навеки мертв. Его глаз больше не потревожит меня.

Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, вам придется переменить свое мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но без шума. Первым делом я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги.

Потом я оторвал три половицы и уложил все останки меж брусьев. После этого приладил доски на место так хитроумно, так ловко, что никакой человеческий глаз — даже его глаз — не заметил бы ничего подозрительного. Смывать следы не

пришлось: нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Уж об этом я позаботился. Все попало прямехонько в таз — ха-ха!

Когда я управился со всем этим, было уже четыре часа — но темнота стояла такая же, как в полночь. Едва колокол пробил четыре, в парадную дверь постучали. Я спустился вниз и отворил со спокойной душой — чего мне теперь было бояться? Вошли трое и как нельзя более учтиво сообщили, что они из полиции. Сосед слышал ночью крик; возникло подозрение, что совершено злодейство; об этом сообщили в полицейский участок, и они (полицейские) получили приказ обыскать дом.

Я улыбнулся — в самом деле, чего мне было бояться? Я любезно пригласил их в комнаты. Я объяснил, что это сам я вскрикнул во сне. А старика нет, заметил я мимоходом, он уехал из города. Я водил их по всему дому. Я просил искать — искать хорошенько. Наконец я провел их в его комнату. Я показал им все его драгоценности, целехонькие, нетронутые. Самонадеянность моя была столь велика, что я принес в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь от трудов, а сам, преисполненный торжества, с отчаянной дерзостью поставил свой стул на то самое место,

где покоился труп моей жертвы.

Полицейские были удовлетворены. Мое поведение их убедило. Я держался с редкой непринужденностью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках, а я оживленно поддержал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнею, и мне захотелось поскорей их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах; а они все сидели и болтали. Звон становился явственней; он не смолкал, нет, он становился явственней; я заговорил еще более развязно, чтобы избавиться от него; но он не смолкал, а лишь обретал отчетливость, — и наконец я обнаружил, что он раздается вовсе не у меня в ушах.

Без сомнения, я очень побледнел; теперь я говорил без умолку и повысил голос. Но звук нарастал — и что мог я поделать? Это был тихий, глухой, частый стук — очень похожий на тиканье часов, если их завернуть в вату. Я задыхался, мне не хватало воздуха, — а полицейские ничего не слышали. Я заговорил еще быстрей — еще исступленней; но звук нарастал неотвратимо. Я вскочил и затеял какой-то нелепый спор, громогласно нес всякую чушь, неистово размахивал руками; но звук неотвратимо нарастал. Отчего они не хотят уйти? Я расхаживал по комнате

и топал ногами, как будто слова этих людей привели меня в ярость, — но звук неотвратимо нарастал. О Господи! Что мог я поделать? Я брызгал слюной — я бушевал — я ругался! Я двигал стул, на котором только что сидел, со скрежетом возил его по половицам, но звук перекрывал все и нарастал непрестанно. Он становился все громче — громче — громче! А эти люди мило болтали и улыбались. Возможно ли, что они ничего не слышали? Господи всемогущий!.. Нет, нет! Они слышали!.. они подозревали!.. они знали!.. они забавлялись моим ужасом! — так думал я и так думаю посейчас. Но нет, что угодно, только не это мучение! Будь что будет, только бы положить конец этому издевательству! Я не мог более выносить их лицемерные улыбки! Я чувствовал, что крик должен вырваться из моей груди, иначе я умру!.. Вот… опять!.. Чу! Громче! Громче! Громче! Громче!..

— Негодяи! — возопил я. — Будет вам притворяться! Я сознаюсь!.. оторвите половицы!.. вот здесь, здесь!.. это стучит его мерзкое сердце!

1843